



ПЛАТОН

ЗАКОНЫ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

ПЛАТОН
ЗАКОНЫ

«ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ»

УДК 1(091)(38)
ББК 87.3(0)

Платон

Законы / Платон — «Издательство АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-121649-8

Платон Афинский – древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Именно с Платона философия формируется как система знания. Что такое законы и почему их нужно выполнять? Зачем они нужны и на каких философских учениях должны быть основаны? Кому, по мнению Платона, предстоит воплотить эти законы и стать идеальным правителем? И каков он, идеальный правитель? Устами своих героев на эти и другие вопросы отвечает Платон в диалогах «Софист», «Политик», «Законы» и «Послезаконие». В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(38)
ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-17-121649-8

© Платон
© Издательство АСТ

Содержание

Софист	6
Политик	51
Законы	93
Книга I	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Платон Законы *Сборник*

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Перевод. С. Шейнман-Топштейн, наследники, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Софист

Феодор, Сократ,

Чужеземец из Элеи, Теэтет

Феодор. Согласно с вчерашним договором, Сократ, мы и сами пришли, как и следовало, да вот и некоего чужеземца из Элей родом с собою ведем, друга последователей Парменида и Зенона, истинного философа.

Сократ. Уж не ведешь ли ты, Феодор, сам того не зная, не чужеземца, но некоего бога, по слову Гомера который рассказывает, что боги, а особенно бог покровитель чужеземцев, бывают вожатыми у тех, кто имеет правую совесть, чтобы наблюдать как своеволие, так и законные действия людей? Так вот, может быть, это и за тобою следует кто-то из всемогущих богов, некий бог-обличитель, чтобы наблюдать и обличать нас, людей, неискусных в речах.

Феодор. Не таков нравом, Сократ, этот чужеземец, он скромнее тех, кто занимается спорами, и представляется мне вовсе не богом, но скорее человеком божественным: ведь так я называю всех философов.

Сократ. Прекрасно, мой друг. На самом деле, по-видимому, различать этот род немногим, так сказать, легче, чем род богов, ибо люди эти «обходят города», причем другим, по невежеству, кем только они ни кажутся: не мнимые, но истинные философы, свысока взирающие на жизнь людей, они одним представляются ничтожными, другим – исполненными достоинства; при этом их воображают то политиками, то софистами, а есть и такие, которые мнят их чуть ли не вовсе сумасшедшими. Поэтому я охотно порасспросил бы у нашего гостя, если это ему угодно, кем считали и как называли этих людей обитатели его мест.

Феодор. Кого же именно?

Сократ. Софиста, политика, философа.

Феодор. В чем же более всего состоит твое недоумение и как ты замыслил о том спросить?

Сократ. Вот в чем: считали ли те все это чем-то одним, двумя или же, различая, согласно трем названиям, три рода, они к каждому из этих названий относили и отдельный род?

Феодор. По моему мнению, он не откажет рассмотреть это; не так ли, чужеземец?

Чужеземец. Это так: вам, Феодор, нет отказа, да и сказать-то не трудно, что они признают три рода, однако дать каждому из них ясное определение, что именно он такое, дело немалое и нелегкое.

Феодор. Воистину, Сократ, по счастливой случайности ты как раз затронул вопросы, близкие тому, о чем мы расспрашивали его, прежде чем сюда прийти. А он и тогда отвечал нам то же, что теперь тебе: он говорит, что об этих-то вещах наслушался достаточно и твердо их помнит.

Сократ. Так, чужеземец, не откажи нам в первом одолжении, о котором мы тебя просим. Скажи-ка нам вот что: как ты привык – сам в длинной речи исследовать то, что желаешь кому-нибудь показать, или путем вопросов, как это, например, делал в своих великолепных рассуждениях Парменид, чему я был свидетель, когда был молодым, а тот уже преклонным старцем?

Чужеземец. С тем, Сократ, кто беседует мирно, не раздражаясь, легче рассуждать, спрашивая его, в противном же случае лучше делать это самому.

Сократ. Так ты можешь выбрать себе в собеседники из присутствующих кого пожелаешь: все будут внимать тебе спокойно. Но если ты послушаешься моего совета, то выберешь кого-нибудь из молодых, например вот этого Теэтета или же кого-то из остальных, если кто тебе по душе.

Чужеземец. Стыд берет меня, Сократ, находясь теперь с вами впервые, вести беседу не постепенно, слово за словом, но произнося длинную, пространную, непрерывную речь, обращаясь к самому себе или же к другому, словно делая то напоказ. Ведь в действительности то, о чем зашла теперь речь, не так просто, как, может быть, понадеется кто-то, судя по вопросу, но нуждается в длинном рассуждении. С другой стороны, не угодить в этом тебе и другим, особенно же после того, что ты сказал, кажется мне неучтивым и грубым. Я вполне одобряю, чтобы собеседником моим был именно Теэтет, как потому, что и сам я с ним уже раньше вел разговор, так и оттого, что ты меня теперь к этому побуждаешь.

Теэтет. Сделай же так, чужеземец, и, как сказал Сократ, ты угодишь всем.

Чужеземец. Кажется, об этом не приходится более говорить. Что ж, после всего этого моя речь, по-видимому, должна быть обращена к тебе. Если же для тебя из-за обширности исследования что-то окажется обременительным, вини в том не меня, но вот этих твоих друзей.

Теэтет. Я с своей стороны думаю, что в таком случае я не сдамся; а случись что-либо подобное, то мы возьмем в помощники вот этого Сократа, Сократова тезку, моего сверстника и сотоварища по гимнастическим упражнениям, которому вообще привычно трудиться вместе со мной.

[Первоначальные частичные определения софиста]

Чужеземец. Ты хорошо говоришь, но об этом уж ты сам с собой поразмыслишь во время исследования, вместе же со мною тебе надо сейчас начать исследование, как мне кажется, прежде всего с софиста, рассматривая и давая объяснение, что он такое. Ведь пока мы с тобою относительно него согласны в одном только имени, а то, что мы называем этим именем, быть может, каждый из нас про себя понимает по-своему, меж тем как всегда и во всем должно скорее с помощью объяснения соглашаться относительно самой вещи, чем соглашаться об одном только имени без объяснения. Однако постигнуть род того, что мы намерены исследовать, а именно что такое софист, не очень-то легкое дело. С другой стороны, если что-нибудь важное должно разрабатывать как следует, то здесь все в древности были согласны, что надо упражняться на менее важном и более легком прежде, чем на самом важном. Итак, Теэтет, я советую это и нам, раз мы признали, что род софиста тяжело уловить: сначала на чем-либо другом, более легком, поупражняться в способе его исследования, если только ты не можешь указать какой-нибудь иной, более удобный путь.

Теэтет. Нет, не могу.

Чужеземец. Итак, не желаешь ли ты, чтобы мы, обращаясь к чему-либо незначительному, попытались сделать это образцом для более важного?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Так что же предложить нам – хорошо известное, а вместе с тем и маловажное, но допускающее объяснение ничуть не меньше, чем что-либо важное? Например, рыбак, удавший рыбу, не есть ли он нечто всем известное и заслуживающее не очень-то большого внимания?

Теэтет. Это так.

Чужеземец. Однако я надеюсь, что он укажет нам путь исследования и объяснение, небесполезное для того, чего мы желаем.

Теэтет. Это было бы хорошо.

Чужеземец. Давай же начнем с него следующим образом. Скажи мне: предположим ли мы, что он знаток своего дела, или же скажем, что он в нем неискусен, но обладает другой способностью?

Теэтет. Уж меньше всего можно признать, что он неискусен.

Чужеземец. Но ведь все искусства распадаются на два вида.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Земледелие и всевозможный уход за всяким смертным телом, далее – все то, что относится к составному и сделанному, то есть к тому, что мы называем утварью, а затем подражательные искусства – все это с полным правом можно бы назвать одним именем.

Теэтет. Как это и каким?

Чужеземец. В отношении всего, чего прежде не существовало, но что кем-либо потом вызывается к жизни, мы говорим: о том, кто это делает, «он творит», а о том, что сделано – «его творят».

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Но ведь то, что мы сейчас рассмотрели, относится по своим свойствам именно сюда.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Итак, будем называть все это, выражаясь кратко, творческим искусством.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. С другой стороны – целый ряд наук и знаний, а также искусства дельца, борца и охотника, так как все они ничего не творят, но занимаются тем, что отчасти словами и действиями подчиняют своей власти то, что есть и что возникает, отчасти не позволяют этого делать другим. Наиболее подходящим было бы назвать все эти части в совокупности неким искусством приобретения.

Теэтет. Да, это было бы подходящим.

Чужеземец. Когда, таким образом, все искусства распадаются на приобретающие и творческие, то к каким, Теэтет, мы причислим искусство удить рыбу?

Теэтет. Разумеется, к приобретающим.

Чужеземец. Но разве не два есть вида приобретающего искусства? Одно из них – искусство обмена по обоюдному соглашению посредством даров, найма и продажи, а другое – искусство подчинения себе всего делом или словом: не будет ли этот последний вид искусством подчинять?

Теэтет. Так, по крайней мере, явствует из сказанного.

Чужеземец. Что же? Искусство подчинять – не разделить ли его на две части?

Теэтет. Как?

Чужеземец. Причислив все явное в нем к искусству борьбы, а все тайное – к искусству охоты.

Теэтет. Согласен.

Чужеземец. Но конечно, было бы неразумным не разделить искусство охоты на две части.

Теэтет. Скажи, как?

Чужеземец. Различая в нем, с одной стороны, охоту за одушевленным родом [вещей], а с другой – за неодушевленным.

Теэтет. Как же иначе? Если только существуют те и другие.

Чужеземец. Ну как же не существуют? Охоту за неодушевленными [вещами], не имеющую названия, за исключением некоторых частей водозахватного искусства и немногих других подобных, мы должны оставить в стороне, а охоту за одушевленными существами назвать охотой за животными.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Но не справедливо ли указать два вида охоты за животными и один из них – за животными на суше, распадающийся на много видов и названий, наименовать охотой за обитающими на суше, а все виды охоты за плавающими животными – охотой за обитателями текучей среды?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Но ведь мы видим, что один разряд плавающих имеет крылья, а другой живет в воде?

Теэтет. Как же не видеть?

Чужеземец. Вся охота за родом крылатых у нас называется птицеловством.

Теэтет. Конечно, называется так.

Чужеземец. А охота за живущими в воде почти вся называется рыболовством.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Что же? Эту охоту в свою очередь не разделить ли мне на две главные части?

Теэтет. На какие?

Чужеземец. Одна производит ловлю прямо с места сетями, а другая посредством удара.

Теэтет. Как называешь ты их и в чем различаешь одну от другой?

Чужеземец. Одну – так как все то, что имеет целью задержать что-либо, заграждает этому выход, как бы его окружая, уместно назвать заграждением...

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. А садки, сети, невода, тенета и тому подобное можно ли назвать иначе как заграждениями?

Теэтет. Никак.

Чужеземец. Стало быть, эту часть ловли назовем заградительной или еще как-нибудь в этом роде.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А вид ловли, отличный от первого, который производится с помощью ударов крюками и трезубцами, надо назвать одним общим именем ударной охоты. Или кто-нибудь, Теэтет, назовет это лучше?

Теэтет. Не станем заботиться об имени. Ведь и это вполне удовлетворяет.

Чужеземец. Но та часть ударной охоты, которая происходит ночью при свете огня, у самих охотников получила, думаю я, название огневой.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Вся же дневная часть, с крюками и трезубцами, называется крючковой.

Теэтет. Да, это называется так.

Чужеземец. Одна часть этой крючковой охоты, когда удар направлен сверху вниз, потому что при ней главным образом идут в ход трезубцы, носит, думаю я, название охоты с трезубцами.

Теэтет. Так, по крайней мере, называют ее некоторые.

Чужеземец. Но остается еще один, так сказать, единственный вид.

Теэтет. Какой?

Чужеземец. Такой, когда ударяют крюком в направлении, противоположном первому, причем не в любое место, куда попало, как это бывает при охоте с трезубцами, но каждый раз в голову и рот рыбы, которую ловят; затем она извлекается снизу вверх с помощью удилиц из прутьев и тростника. Каким именем, Теэтет, скажем мы, надо это назвать?

Теэтет. Я полагаю, что теперь найдено именно то, что мы недавно поставили своей задачей исследовать.

Чужеземец. Теперь, значит, мы с тобой не только согласились о названии рыболовного искусства, но и получили достаточное объяснение самой сути дела. Оказалось, что половину всех вообще искусств составляет искусство приобретающее; половину приобретающего искус-

ство покорять; половину искусства покорять – охота; половину охоты – охота за животными; половину охоты за животными – охота за живущими в текучей среде; нижний отдел охоты в текучей среде – все вообще рыболовство; половину рыболовства составляет ударная охота; половину ударной охоты – крючковая; половина же этой последней – лов, при котором добыча извлекается после удара снизу вверх, есть искомое нами ужение, получившее название в соответствии с самим делом.

Теэтет. Во всяком случае, это достаточно выяснено.

Чужеземец. Ну так не попытаться ли нам по этому образцу найти и что такое софист?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Но ведь первым вопросом было: должно ли считать удильщика-рыболова человеком обыкновенным, или же он знаток своего дела?

Теэтет. Да, таков был первый вопрос.

Чужеземец. А теперь, Теэтет, сочтем ли мы нашего софиста человеком обыкновенным или же во всех отношениях истинным знатоком?

Теэтет. Обыкновенным – ни в коем случае. Я ведь понимаю, что ты считаешь: тот, кто носит это имя, должен, во всяком случае, таким и быть.

Чужеземец. Выходит, нам следует признать его знатоком своего дела.

Теэтет. Но каким бы это?

Чужеземец. Или, ради богов, мы не знаем, что один из этих мужей сродни другому?

Теэтет. Кто кому?

Чужеземец. Рыболов-удильщик – софисту.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Оба они представляются мне в некотором роде охотниками.

Теэтет. Но какой охотой занимается другой? Про одного ведь мы говорили.

Чужеземец. Мы только что разделили всю охоту надвое, отделив ее водную часть от сухопутной.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы рассмотрели всю ту ее часть, которая касается плавающих, сухопутную же оставили без подразделения, сказав, что она многовидна.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Таким образом, до сих пор софист и удильщик-рыболов вместе занимаются приобретающим искусством.

Теэтет. Это, по крайней мере, правдоподобно.

Чужеземец. Но они расходятся, начиная с охоты за живыми существами: один идет к морю, рекам и озерам, чтобы охотиться за обитающими в них животными.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А другой – к земле и неким другим потокам, к изобильным лугам богатства и юности, покорять обитающие там существа.

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. В сухопутной охоте бывают две главные части.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Одна – охота за ручными, другая – за дикими животными.

Теэтет. Разве существует охота за ручными животными?

Чужеземец. Если только человек ручное животное. Считаю, впрочем, как тебе угодно: либо что вообще не существует ручных животных, либо что есть какое-то другое ручное животное, а человек – животное дикое; или, может быть, ты скажешь, что человек – ручное животное, но не признаешь никакой охоты за людьми? Что из всего этого тебе понравится, это ты нам и определи.

Теэтет. Но я думаю, чужеземец, что мы ручные животные, и утверждаю, что существует охота за людьми.

Чужеземец. Так разделим же и охоту за ручными животными надвое.

Теэтет. На каком основании?

Чужеземец. Да определив разбой, увод в рабство, тиранию и военное искусство – все в целом как одно, а именно как охоту насильственную.

Теэтет. Прекрасно.

Чужеземец. С другой стороны, судейское искусство, искусство говорить всенародно и искусство обхождения, также все в целом, определим как некое искусство убеждать.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Назовем же два рода искусства убеждать.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Один – искусство убеждать в частной беседе, а другой, всенародно.

Теэтет. Конечно, бывает тот и другой вид.

Чужеземец. Но в свою очередь частная охота не бывает ли, с одной стороны, требующей вознаграждения, а с другой – приносящей дары?

Теэтет. Не понимаю.

Чужеземец. Видно, ты еще не обратил внимания на охоту влюбленных.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. В том, что за кем влюбленные охотятся, тем они делают подарки.

Теэтет. Ты говоришь сущую правду.

Чужеземец. Ну, так пусть этот вид будет называться любовным искусством.

Теэтет. Уж конечно.

Чужеземец. А тот вид получения вознаграждения, при котором вступают в общение с кем-либо для того, чтобы ему угодить, и при этом всегда приманкою делают удовольствие, а в награду добиваются единственно лишь пропитания для себя в виде лести, все мы, думаю я, могли бы назвать своего рода искусством услаждающим.

Теэтет. Да и как не назвать?

Чужеземец. А когда объявляют, что вступают в общение с другим ради добродетели, но в награду требуют деньги, не справедливо ли назвать этот род получения наград другим именем?

Теэтет. Конечно!

Чужеземец. Каким же? Попытайся сказать.

Теэтет. Да это ясно: мне кажется, что мы дошли до софиста. Назвав этот род так, я дал ему, думаю, надлежащее имя.

Чужеземец. Согласно, Теэтет, с теперешним нашим объяснением, выходит, что охота, принадлежащая к искусствам приобретения, подчинения, охоты, охоты на животных, сухопутной охоты, охоты за людьми, за отдельными лицами, к искусству продавать за деньги, к мнимому воспитанию – иными словами, охота за богатыми и славными юношами должна быть названа софистикою.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Посмотрим еще и вот с какой стороны: ведь то, что мы теперь исследуем, принадлежит не к маловажному искусству, но к искусству весьма разностороннему, так что оно и в прежних наших утверждениях казалось не тем родом, за который мы его теперь признаем, но иным.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Приобретающее искусство у нас было двоякого вида: одна часть заключала в себе охоту, другая – обмен.

Теэтет. Да, было так.

Чужеземец. Назовем же далее два вида обмена: один – дарственный, другой – торговый.

Теэтет. Назовем это так.

Чужеземец. Но мы и торговлю разделим надвое.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Различая, с одной стороны, торговлю тех, кто продает собственные изделия, а с другой – меновую торговлю, в которой обмениваются чужие изделия.

Теэтет. Ну конечно.

Чужеземец. Что же? Меновая торговля внутри города, которая составляет почти половину всей меновой торговли, не называется ли мелочной?

Теэтет. Да.

Чужеземец. А обмен между городами посредством купли и продажи не есть ли торговля крупная?

Теэтет. Почему же нет?

Чужеземец. Но разве мы не обратили внимания, что одна часть крупной торговли продает и обменивает на деньги то, чем питается и в чем имеет нужду тело, а другая – то, чем питается и в чем имеет нужду душа?

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Того вида торговли, который касается души, мы, быть может, не знаем, но о другом-то имеем понятие.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Мы скажем затем, что все музыкальное искусство, которое все время перевозится из города в город, покупается там и тут, а также живопись, фокусничество и многие другие нужные для души вещи, ввозимые и продаваемые частью для забавы, а частью для серьезных занятий, в отношении того, кто их ввозит и ими торгует, могут не меньше, чем торговля пищей и питьем, вполне оправдать имя купца.

Теэтет. Ты говоришь совершенно верно.

Чужеземец. Так не назовешь ли ты тем же именем и того, кто скупает знания и, переезжая из города в город, обменивает их, на деньги?

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. А в этой торговле духовными товарами не должно ли по всей справедливости назвать одну часть ее искусством показа, а другую, правда не менее забавную, чем первая, но представляющую собой не что иное, как торговлю знаниями, не следует ли назвать каким-нибудь именем, сродным самому делу?

Теэтет. Несомненно, следует.

Чужеземец. Так ту часть этой торговли знаниями, которая имеет дело с познанием всех прочих искусств, должно назвать одним именем, а ту, которая имеет дело с добродетелью, другим.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Название «торговля искусствами», конечно, подошло бы к той, которая имеет дело со всем остальным, а для другой, имеющей дело с добродетелью, ты сам потрудись сказать имя.

Теэтет. Да какое же другое имя можно назвать, не делая ошибки, помимо того, что исследуемое нами теперь – это софистический род?

Чужеземец. Никакого другого назвать нельзя. Давай же возьмем в совокупности все это и скажем, что, во-вторых, софистика оказалась искусством приобретать, менять, продавать, торговать вообще, торговать духовными товарами, а именно рассуждениями и знаниями, касающимися добродетели.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. В-третьих, я думаю, что, если кто-нибудь поселится в городе и станет отчасти покупать, а отчасти сам изготавливать и продавать знания об этих самых вещах и поставит себе целью добывать себе этим средства к жизни, ты не назовешь его каким-либо иным именем, помимо того, о котором только что было сказано.

Теэтет. Почему бы и не назвать так?

Чужеземец. Стало быть, и тот род приобретающего искусства, который занимается меной и продажей чужих или собственных изделий, в обоих случаях, Коль скоро оно занимается продажей познаний о таких вещах, ты, очевидно, всегда будешь называть софистическим.

Теэтет. Несомненно. Ведь надо быть последовательным в рассуждении.

Чужеземец. Посмотрим еще, не походит ли исследуемый нами теперь род на что-либо подобное.

Теэтет. На что именно?

Чужеземец. Частью приобретающего искусства у нас была борьба.

Теэтет. Конечно, была.

Чужеземец. Так не будет лишним разделить ее на две части.

Теэтет. Скажи, на какие?

Чужеземец. Допустим, что одна из них – состязание, а другая сражение.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Допустим также, что той части сражения, где выступает тело против тела, довольно уместно и подобает дать какое-нибудь название... ну, например, применение силы.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А той, где слова выступают против слов, какое другое, Теэтет, можно дать имя, как не спор?

Теэтет. Никакого.

Чужеземец. Но ту часть [борьбы], которая имеет дело со спорами, надо считать двойкой.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Поскольку она происходит всенародно и длинные речи выступают против длинных речей, и притом по вопросам о справедливости и несправедливости, это – судебное прение.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Напротив, ту, которая относится к частным беседам и распадается на вопросы и ответы, имеем ли мы обыкновение называть иначе, чем искусством прекословия?

Теэтет. Нет, вовсе не имеем.

Чужеземец. А вся та часть искусства прекословия, которая заключается в препирательстве по поводу обыденных дел и проявляется в этом просто и безыскусственно, хотя и должна считаться отдельным видом – таким признало ее наше рассуждение, однако не получила наименования от тех, кто жил прежде, да и от нас теперь недостойна его получить.

Теэтет. Это правда. Ведь она распадается на слишком малые и разнообразные части.

Чужеземец. Но ту, в которой есть искусство и состоит она в препирательстве о справедливом и несправедливом и обо всем остальном, не привыкли ли мы называть искусством словопрения?

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Но одна часть искусства словопрения истребляет деньги, а другая – наживает их.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Так попытаемся же сказать имя, каким должно называть каждую.

Теэтет. Да, это нужно.

Чужеземец. Я полагаю, что та часть этого искусства, которая ради удовольствия подобного времяпрепровождения заставляет пренебрегать домашними делами и способ выражения

которой вызывает у большинства слушателей неудовольствие, называется – то мое мнение – не иначе как болтовней.

Теэтет. Конечно, она называется как-нибудь так.

Чужеземец. А противоположную этой часть, наживающую деньги от частных споров, попытайся теперь назвать ты.

Теэтет. Да что ж другое и на этот раз можно сказать, не делая ошибки, кроме того, что опять, в четвертый раз, появляется тот же самый удивительный, преследуемый нами софист?

Чужеземец. Так, стало быть, как показало исследование, и на этот раз софист, видно, есть не что иное, как род [людей], наживающих деньги при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Видишь, как справедливо говорят, что зверь этот пестр и что, по пословице, его нельзя поймать одной рукой.

Теэтет. Значит, надо обеими.

Чужеземец. Конечно, надо, и по возможности следует делать так, чтобы преследование его велось неотступно. Например, вот так. Скажи мне: называем ли мы как-то некоторые занятия рабов?

Теэтет. И даже многие. Но о каких именно из этих названий ты спрашиваешь?

Чужеземец. Например, о таких: мы говорим «процеживать», «просеивать», «проветивать», «отделять».

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И сверх того еще «чесать», «прясть». «ткать»; существует и множество других подобных названий, относящихся, как мы знаем, к искусствам. Не правда ли?

Теэтет. Что же ты спрашиваешь и желаешь разъяснить по поводу этих примеров?

Чужеземец. Все искусства вообще, о которые, было сказано, думаю я, называются разделяющимися.

Теэтет. Да.

Чужеземец. По моему мнению, так как все это сводится к одному искусству, то надо бы удостоить его и одним именем.

Теэтет. Каким же?

Чужеземец. Это – искусство различать.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Посмотри-ка: не могли ли бы мы каким-нибудь образом в свою очередь усмотреть два его вида?

Теэтет. Слишком же скорого ты требуешь от меня соображения.

Чужеземец. Но ведь в упомянутых искусствах различения одно может отличать худшее от лучшего, другое – подобное от подобного же.

Теэтет. Теперь, когда это сказано, мне так кажется.

Чужеземец. Для одного из этих различений я не знаю ходячего имени, а для другого, которое лучшее оставляет, а худшее устраняет, знаю.

Теэтет. Скажи, какое?

Чужеземец. Всякое подобное различение, думаю я, у всех носит название некоего очищения.

Теэтет. Да, это так называется.

Чужеземец. Но не заметит ли каждый, что очистительный вид искусства в свою очередь двоякий?

Теэтет. Да, на досуге, быть может, и заметит. Я же пока не вижу.

Чужеземец. И однако, многие виды очищений, касающиеся тел, следует обозначить одним именем.

Теэтет. Какие и каким?

Чужеземец. Прежде всего, очищения у живых существ всего того, что находится у них внутри тел и что правильно выделяется, очищаясь благодаря гимнастике и врачеванию; затем, очищения всего внешнего, о чем и говорить неловко, совершающиеся при помощи банного искусства; наконец, очищения неодушевленных тел, о которых до мелочей заботится валяльное и все вообще искусство украшения, получившее множество имен, кажущихся смешными.

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Без сомнения, так, Теэтет. Однако методу нашего исследования искусство омыwać губкой подлжит не меньше, но и не больше, чем искусство готовить лекарства, хотя бы одно из них приносило нам очищением малую пользу, а другое – великую. Ведь этот метод, пытаясь с целью приобретения знания уразуметь сродное и несродное во всех искусствах, ценит ради этого все их одинаково, и, поскольку они подобны между собой, не считает одни смешнее других; он вовсе не находит, что тот, кто объясняет охоту на примере предводительства войсками, почтеннее того, кто поясняет ее на примере ловли вшей, хотя в большинстве случаев считает первого напыщеннее. Да вот и теперь ты спросил, каким именем нам назвать все те способности, удел которых очищать как неодушевленное, так и одушевленное тело, и для этого метода совершенно безразлично, какое выражение покажется самым благопристойным, лишь бы оно, оставив в стороне очищения души, объединило собою то, что очищает все остальное. Ведь теперь он пытается отделить очищение мысли от остальных очищений, если только мы понимаем, чего он желает.

Теэтет. Я понял и соглашаюсь, что существует два вида очищения, из которых один касается души и отличен от того, который касается тела.

Чужеземец. Превосходно. Выслушай от меня и следующее: сделай попытку опять разделить то, о чем мы говорим, надвое.

Теэтет. Я попытаюсь делить с тобою вместе, куда бы ты меня ни направил.

Чужеземец. Не считаем ли мы, что порочность души – это нечто отличное от ее добродетели?

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Но ведь очищение состояло в том, чтобы выбрасывать все негодное и оставлять иное.

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Так стало быть, если мы найдем какой-либо способ устранения зла из души, то назвав его очищением, мы выразимся удачно.

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Должно, однако, назвать два вида зла, относящегося к душе.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Один – проявляющийся как болезнь в теле, другой – как безобразие.

Теэтет. Не понял.

Чужеземец. Быть может, ты не считаешь болезнь и разлад одним и тем же?

Теэтет. И на это не знаю, что мне отвечать.

Чужеземец. Разве разлад это не раздор, возникающий вследствие какой-либо порчи – среди того, что сродно по своей природе?

Теэтет. Да.

Чужеземец. А безобразие – разве это не род несоразмерности, неприглядный во всех отношениях?

Теэтет. Да, именно это.

Чужеземец. Что же? Не замечаем ли мы, что в душе людей негодных мнения находятся в раздоре с желаниями, воля – с удовольствиями, рассудок со страданиями и все это – между собой?

Теэтет. Весьма даже.

Чужеземец. Но ведь все это по необходимости родственно друг другу.

Теэтет. Как же нет?

Чужеземец. Стало быть, называя разлад и болезнь души пороком, мы выразимся правильно.

Теэтет. Конечно, вполне правильно.

Чужеземец. Что же? Обо всех тех вещах, которые, находясь в движении и имея перед собою какую-то цель, к достижению которой и стремятся, при каждом порыве минуют ее и ошибаются, скажем ли мы, что это случается с ними вследствие соразмерности вещи и цели или, наоборот, вследствие несоразмерности?

Теэтет. Ясно, что вследствие несоразмерности.

Чужеземец. Но ведь мы знаем, что всякая душа заблуждается во всем не по доброй воле.

Теэтет. Бесспорно.

Чужеземец. Заблуждение же есть не что иное, как отклонение мысли, когда душа стремится к истине, но проносится мимо понимания.

Теэтет. Несомненно.

Чужеземец. Стало быть, заблуждающуюся душу должно считать безобразною и несоразмерною.

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Итак, в ней есть, видно, эти два рода зла. Один, который многие называют пороком, это, как весьма очевидно, ее болезнь.

Теэтет. Да.

Чужеземец. А другой называют заблуждением, но соглашаться с тем, что это – зло, свойственное только душе, не желают.

Теэтет. Конечно, должно согласиться с тем, в чем я, когда ты это недавно сказал, усомнился, а именно что есть два рода зла в душе и что трусость, своеволие и несправедливость, все вместе, надо считать гнездящейся в нас болезнью, а состояния частого и разнообразного заблуждения – безобразием.

Чужеземец. Не существует ли против этих двух состояний, по крайней мере для тела, неких двух искусств?

Теэтет. Каких это?

Чужеземец. Против безобразия – гимнастика, против болезни врачевание?

Теэтет. Это ясно.

Чужеземец. Так не существует ли и против высокомерия, несправедливости и трусости из всех искусств по природе своей самое подходящее – карательное – правосудие?

Теэтет. Вероятно, по крайней мере если говорить согласно с людским мнением.

Чужеземец. Что же? А против всякого вообще заблуждения можно ли правильнее назвать другое какое-либо искусство, кроме искусства обучать?

Теэтет. Нет, нельзя.

Чужеземец. Ну хорошо. Должно ли, однако, утверждать, что в искусстве обучать существует один род, или надо говорить, что их больше и что в этом случае самые важные в нем – два каких-то рода? Рассмотрим.

Теэтет. Рассматриваю.

Чужеземец. И мне кажется, что мы скорее всего могли бы найти их вот как.

Теэтет. Как?

Чужеземец. А рассмотрев, не допускает ли заблуждение внутри себя некоего разделения? Ведь будучи двояким, оно, очевидно, принуждает и искусство обучения иметь две части, по одной для каждого из своих родов.

Теэтет. Что же? Ясно ли тебе то, что мы теперь исследуем?

Чужеземец. Мне, во всяком случае, кажется, что я вижу обособленным некий великий и тягостный вид заблуждения, равный по значению всем остальным частям заблуждения.

Теэтет. Какой именно?

Чужеземец. Тот, когда, не зная чего-нибудь, люди считают себя знающими это. Отсюда, по-видимому, у всех возникает все то, что составляет наши ошибки в мышлении.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Так именно этому одному виду заблуждения и присваивается, по моему мнению, имя невежества.

Теэтет. Уж конечно.

Чужеземец. Какое же, стало быть, надо дать имя той части искусства обучения, которая от него избавляет?

Теэтет. Я так думаю, чужеземец, что все другое называется ремесленным обучением, а эта часть, по крайней мере здесь, у нас, именуется воспитанием.

Чужеземец. Да и у всех почти эллинов, Теэтет, она именуется так. Но нам надо еще рассмотреть, не есть ли она уже неделимое целое, или же она допускает какое-либо достойное названия подразделение.

Теэтет. Конечно, это надо рассмотреть.

Чужеземец. Так мне представляется, что и эта часть некоторым образом расчленяется.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. В искусстве обучения с помощью речей один путь кажется более шероховатым, другой – более гладким.

Теэтет. Что же сказать нам о каждом из них?

Чужеземец. Один путь стародавний, путь наших отцов, которым они главным образом пользовались, да многие пользуются еще и теперь в применении к сыновьям, когда те в чем-нибудь провинятся, причем их то бранят, то более кротко увещевают. Всю эту часть правильнее всего можно назвать вразумлением.

Теэтет. Это так.

Чужеземец. Что же касается другого, то здесь некоторые, видно, по размышлению, пришли к выводу, что всякое неведение бывает невольным и если кто считает себя мудрым, он никогда не пожелает обучаться чему-либо из того, в чем считает себя сильным, способ же воспитывать путем вразумления при затрате большого труда приводит к малым достижениям.

Теэтет. Они правильно полагают.

Чужеземец. Поэтому-то за устранение подобного [само]мнения они берутся другим способом.

Теэтет. Каким же именно?

Чужеземец. Они спрашивают кого-либо о том, относительно чего тот мнит, будто говорит дельно, хотя в действительности говорит пустое. Затем, так как он и ему подобные бросаются из стороны в сторону, они легко выясняют их мнения и, сводя их в своих рассуждениях воедино, сопоставляют между собой, сопоставляя же, показывают, что эти мнения противоречат друг другу касательно одних и тех же вещей, в одном и том же отношении, одним и тем же образом. Те же, видя это, сами на себя негодуют, а к другим становятся мягче и таким способом освобождаются от высокомерного и упорного самомнения, и из всех освобождений об этом освобождении слушать всего приятнее, да и для того, кто его испытывает, оно бывает самым надежным. Ведь те, кто их очищает, дитя мое, полагают, подобно тому как это признали врачи, что тело может наслаждаться предлагаемой ему пищей не раньше, чем будет из него устранено все то, что этому служит помехой; то же самое они думают и относительно души. Они считают, что душа получит пользу от предлагаемых знаний не раньше, чем обличитель, заставив обличаемого устыдиться и устранив мешающие знаниям мнения, сделает обличаемого чистым и таким, что он будет считать себя знающим лишь то, что знает, но не более.

Теэтет. Во всяком случае это состояние – наилучшее и разумнейшее.

Чужеземец. Вследствие всего этого, Теэтет, о таком обличении мы должны говорить как о величайшем и главнейшем из очищений и, с другой стороны, человека, не подвергшегося этому испытанию, если бы даже он был Великим царем, поскольку он не очищен в самом главном, должны считать невоспитанным и безобразным в том отношении, в каком следовало бы быть самым чистым и прекрасным тому, кто желает стать действительно счастливым.

Теэтет. Безусловно, так.

Чужеземец. Что же? Тех, кто занимается этим искусством, как нам назвать? Я ведь боюсь назвать их софистами.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Как бы не приписать им слишком ценный дар.

Теэтет. Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.

Чужеземец. Да ведь и волк походит на собаку, самое дикое существо на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из-за них не возникает.

Теэтет. Да, вероятно, не возникает.

Чужеземец. Так пусть же частью искусства различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части – искусство обучать, от искусства обучать – искусство воспитывать, а обличение пустого суетумудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении не иначе как благородною по своему роду софистикою.

Теэтет. Пусть называется. Однако я, поскольку обнаружилось столь многое, недоумеваю, кем же, наконец, если говорить правильно и с уверенностью, следует признать на самом деле софиста.

Чужеземец. Твое недоумение естественно. Но и тот, софист, надо думать, теперь уже сильно недоумевают, куда ему, наконец, ускользнуть от нашего рассуждения. Ведь справедлива поговорка, что не легко от всего увернуться. Поэтому теперь надо посильнее на него налечь.

Теэтет. Ты говоришь прекрасно.

Чужеземец. Давай-ка сначала, остановившись, как бы переведем дух и, отдыхая, поразмыслим сами с собою: вот ведь сколь многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он – платный охотник за молодыми и богатыми людьми.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Во-вторых, что он крупный торговец знаниями, относящимися к душе.

Теэтет. Именно.

Чужеземец. В-третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?

Теэтет. Да; и в-четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.

Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях.

Теэтет. Так и было.

Чужеземец. Шестое спорно; при всем том мы, уступив софисту, приняли, что он очищает от мнений, препятствующих знаниям души.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. Замечаешь ли ты, что когда у кого-то имеется много знаний, а именуют его только по одному виду искусства, то об этом человеке возникает неверное представление. И ясно, что, если кто имеет нечеткое представление о каком-либо искусстве, он не может себе вообразить, на что направлены все знания в этом искусстве, почему он и называет того, кто ими обладает, многими именами вместо одного.

Теэтет. Кажется, большею частью это происходит приблизительно так.

Чужеземец. Пусть же мы не испытаем по лености ничего подобного при исследовании, но примем, прежде всего, одно из сказанного о софисте; это одно, как мне кажется, более всего его отличает.

Теэтет. Что же это за одно?

Чужеземец. Мы где-то признали его искусником в прекословии.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Что же? Не признали ли мы, что он учит этому самому и других?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Посмотрим-ка, в спорах о чем обещают подобные люди сделать других искусными? Пусть наше исследование идет сначала примерно так. Ну-ка, делают ли они других людей способными спорить о божественных делах, скрытых от большинства?

Теэтет. О них действительно так говорят.

Чужеземец. А относительно земных, небесных и тому подобных очевидных явлений?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И конечно, мы знаем, что, когда в частных беседах зайдет речь о возникновении и бытии, они и сами оказываются искусными в возражениях, и других делают такими же способными в этом, как они сами?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. А что касается законов и всего, относящегося к государству, берутся ли они сделать других искусными спорщиками?

Теэтет. Да ведь никто с ними, можно сказать, и не стал бы беседовать, если б они не брались.

Чужеземец. Однако все то, что по поводу всех искусств, а также и каждого из них в отдельности должен возражать сам мастер, обнародовано для каждого желающего этому научиться в письменном виде.

Теэтет. Ты, кажется, имеешь в виду Протагоровы сочинения о борьбе и иных искусствах?

Чужеземец. И многие другие, мой друг. Однако не представляется ли искусство прекословить какой-то способностью, годною для любых словопрений – о чем угодно?

Теэтет. Кажется, это искусство почти ничего не оставляет без внимания.

Чужеземец. Но, ради богов, мой мальчик, признаешь ли ты все это возможным? Ведь вы, молодые, пожалуй, бываете тут проницательнее, мы же слабее.

Теэтет. О чем это и к чему ты все это говоришь? Я даже не понимаю этого твоего вопроса.

Чужеземец. А о том, будто бы возможно, чтобы кто-нибудь из людей все знал.

Теэтет. Поистине счастливым был бы, чужеземец, наш род.

Чужеземец. Каким же образом кто-то, не зная сам, мог бы здраво возражать знающему?

Теэтет. Это никоим образом невозможно.

Чужеземец. Ну так в чем же состояло бы чудо силы софистики?

Теэтет. В применении к чему?

Чужеземец. Каким образом софисты были бы в состоянии внушить молодым людям мнение, будто они во всем наимудрейшие? Ясно ведь, что, если бы софисты не возражали правильно, или не казалось бы, что они правильно возражают, или даже если бы и создавалось такое впечатление, но они представлялись бы разумными лишь в силу этих возражений, то, говоря твоими же словами, едва ли кто-нибудь пожелал бы у них учиться, платя им деньги.

Теэтет. Разумеется, едва ли.

Чужеземец. А на самом деле ведь желают?

Теэтет. И даже очень.

Чужеземец. Я думаю, они кажутся сведущими в том, что они возражают.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Но, утверждаем мы, ведь они делают это по отношению ко всему?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Поэтому-то они и кажутся ученикам мудрыми во всем.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Не будучи в то же время таковыми. Ведь это оказалось невозможным.

Теэтет. Как может это быть возможным?

Чужеземец. Значит, софист оказался у нас обладателем какого-то мнимого знания обо всем, а не истинного.

Теэтет. Безусловно, и сказанное о них теперь кажется вполне правильным.

Чужеземец. Возьмем же какой-нибудь более ясный пример.

Теэтет. Какой?

Чужеземец. Вот какой... а ты постарайся ответить мне, как следует подумав.

Теэтет. Так что же это?

Чужеземец. Например, если бы кто-нибудь стал утверждать, что ни говорить, ни возражать не умеет, но с помощью одного лишь искусства может создавать все вещи без исключения...

Теэтет. Как ты разумеешь это «все»?

Чужеземец. Ты уже сейчас не понимаешь, из чего исходит сказанное. Тебе кажется непонятным это «все».

Теэтет. Конечно нет.

Чужеземец. Я считаю, однако, что и я и ты принадлежим ко «всему», помимо же нас все остальные животные и растения.

Теэтет. Как ты говоришь?

Чужеземец. Я имею в виду, если кто-нибудь стал бы утверждать, что сотворит и меня, и тебя, и все растения...

Теэтет. О каком творении ты, однако, упоминаешь? Ведь не о земледельце же будешь ты говорить, поскольку того человека ты называешь творцом также и животных.

Чужеземец. Да, и сверх того моря, земли, неба и богов, а также всего прочего, вместе взятого; быстро творя, он каждую из этих вещей продает за весьма милые деньги.

Теэтет. Это какая-то шутка.

Чужеземец. Ну а разве не шуткой надо считать, когда кто-нибудь говорит, будто все знает и будто мог бы за недорогую плату в короткий срок и другого этому научить?

Теэтет. Безусловно, шуткой.

Чужеземец. Знаешь ли ты какой-либо более искусный или более приятный вид шутки, чем подражание?

Теэтет. Нет. Ты назвал всеобъемлющий и весьма разнообразный вид, соединив все в одном.

Чужеземец. Таким образом, о том, кто выдает себя за способного творить все с помощью одного лишь искусства, мы знаем, что он, создавая посредством живописи всевозможные подражания и одноименные с существующими вещами предметы, сможет обмануть неразумных молодых людей, показывая им издали нарисованное и внушая, будто бы он вполне способен на деле исполнить все, что они ни пожелают.

Теэтет. Да, это так.

Чужеземец. Что же теперь? Не считать ли нам, что и по отношению к речам существует какое-то подобное искусство, с помощью которого можно обольщать молодых людей и тех, кто стоит вдали от истинной сущности вещей, речами, действующими на слух, показывая словесные призраки всего существующего? Так и достигается то, что произносимое принимают за истину, а говорящего – за мудрейшего из всех и во всем.

Теэтет. Да почему и не быть какому-либо подобному искусству?

Чужеземец. Не бывает ли, дорогой Теэтет, необходимым для многих из слушателей, когда по прошествии достаточного времени и достижении зрелого возраста они приходят в столкновение с действительностью и становятся вынужденными под ее воздействием ясно постигнуть существующее, изменить приобретенные раньше мнения, так что великое оказывается малым, легкое трудным и все ложные представления, образованные при помощи речей, всячески опровергаются действительными делами?

Теэтет. Конечно, насколько я в своем юном возрасте могу судить. Но думаю, что и я еще из числа стоящих поодаль [от истины].

Чужеземец. Поэтому-то все мы здесь постараемся, да и теперь стараемся, подвести тебя к ней как можно ближе прежде, чем ты испытаешь такие воздействия. О софисте же ты скажи мне следующее: ясно ли уже, что, будучи подражателем действительности, он – словно какой-то чародей, или мы еще пребываем в сомнении, уж не обладает ли он и в самом деле знанием обо всем том, о чем он в состоянии спорить?

Теэтет. Да каким же образом, чужеземец? Ведь из сказанного уже теперь почти ясно, что он принадлежит к людям, занятым забавой.

Чужеземец. Оттого-то его и надо считать каким-то чародеем и подражателем.

Теэтет. Как же не считать?

Чужеземец. Ну, теперь наша задача – не выпустить зверя, мы его почти уже захватили в своего рода сеть – орудие нашего рассуждения, так что он больше не убежит и от этого.

Теэтет. От чего же?

Чужеземец. От того, что он – из рода фокусников.

Теэтет. Это также и мое о нем мнение.

Чужеземец. Нами решено уже как можно скорее расчлнить изобразительное искусство и, если софист, когда мы вторгнемся в область этого искусства, останется с нами лицом к лицу, схватить его по царскому слову, передавая же его царю, объявить о добыче. Если же софист как-либо скроется в отдельных частях искусства подражания, то решено преследовать его, все время продолжая расчлнять принявшую его часть, до тех пор пока он не будет пойман. Вообще, ни этому роду, ни другому какому никогда не придется хвалиться, что он смог убежать от тех, кто владеет методом преследовать как по частям, так и в целом.

Теэтет. Ты хорошо говоришь, так и должно поступить.

Чужеземец. Согласно с прежним характером членения, мне кажется, я усматриваю два вида искусства подражания. Однако, мне кажется, что я еще не в состоянии узнать, в каком же из них двух находится у нас искомая идея.

Теэтет. Но сначала скажи и поясни, о каких двух видах ты говоришь.

Чужеземец. В одном я усматриваю искусство творить образы; оно состоит преимущественно в том, что кто-либо соответственно с длиною, шириною и глубиною образца, придавая затем еще всему подходящую окраску, создает подражательное произведение.

Теэтет. Как же? Не все ли подражатели берутся делать то же самое?

Чужеземец. Во всяком случае, не те, кто лепит или рисует какую-либо из больших вещей. Если бы они желали передать истинную соразмерность прекрасных вещей, то ты знаешь, что верх оказался бы меньших размеров, чем должно, низ же больших, так как первое видимо нами издали, второе вблизи.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Не воплощают ли поэтому художники в своих произведениях, оставляя в стороне истинное, не действительные соотношения, но лишь те, которые им кажутся прекрасными?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Не будет ли справедливым первое, как правдоподобное, назвать подобием?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И относящуюся сюда часть искусства подражания не должно ли, как мы уже сказали раньше, назвать искусством творить образы?

Теэтет. Пусть называется так.

Чужеземец. А как же мы назовем то, что, с одной стороны, кажется подобным прекрасному, хотя при этом и не исходят из прекрасного, а, с другой стороны, если бы иметь возможность рассмотреть это в достаточной степени, можно было бы сказать, что оно даже не сходно с тем, с чем считалось сходным? Не есть ли то, что только кажется сходным, а на самом деле не таково, лишь призрак?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Не весьма ли обширна эта часть и в живописи, и во всем искусстве подражания?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Не назовем ли мы вполне справедливо искусством творить призрачные подобиya то искусство, которое создает не подобиya, а призраки?

Теэтет. Конечно, назовем.

Чужеземец. Таким образом, я назвал следующие два вида изобразительного искусства: искусство творить образы и искусство создавать призрачные подобиya.

Теэтет. Правильно.

[Диалектика бытия и небытия]

Чужеземец. Того же, однако, о чем я и прежде недоумевал, а именно к какому из обоих искусств должно отнести софиста, я и теперь еще не могу ясно видеть: человек этот поистине удивителен, и его весьма затруднительно наблюдать; ой и в настоящее время очень ловко и хитро укрылся в трудный для исследования вид [искусства].

Теэтет. Кажется, да.

Чужеземец. Но ты сознательно ли соглашаешься с этим, или же тебя, по обыкновению, увлекла к поспешному соглашению некая сила речи?

Теэтет. К чему ты это сказал?

Чужеземец. В действительности, мой друг, мы стоим перед безусловно трудным вопросом. Ведь являться и казаться и вместе с тем не быть, а также говорить что-либо, что не было бы истиной, все это и в прежнее время вызвало много недоумений, и теперь тоже. В самом деле, каким образом утверждающий, что вполне возможно говорить или думать ложное, высказав это, не впадает в противоречие, постигнуть, дорогой Теэтет, во всех отношениях трудно.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Это смелое утверждение: оно предполагало бы существование небытия; ведь в противном случае и самая ложь была бы невозможна. Великий Парменид, мой мальчик, впервые, когда мы еще были детьми, высказал это и до самого конца не переставал свидетельствовать о том же, постоянно говоря прозой или стихами:

Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было;
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.

Итак, Парменид свидетельствует об этом, и, что важнее всего, само упомянутое утверждение при надлежащем исследовании его раскрыло бы то же. Рассмотрим, следовательно, именно этот вопрос, если ты не возражаешь.

Теэтет. По мне, направляйся куда хочешь, относительно же нашего рассуждения смекни, каким путем его лучше повести, и следуй этим путем сам, да и меня веди им же.

Чужеземец. Да, так именно и нужно поступать. И вот ответ мне: отважимся ли мы произнести «полное небытие»?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Если бы, таким образом, кто-либо из слушателей не для спора и шутки, но со всей серьезностью должен был ответить, к чему следует относить это выражение – «небытие», то что мы подумали бы: в применении к чему и в каких случаях говорящий и сам воспользовался бы этим выражением, и указал бы на него тому, кто спрашивает?

Теэтет. Ты ставишь трудный и, можно сказать, именно для меня почти совершенно неразрешимый вопрос.

Чужеземец. Но по крайней мере, ясно хоть то, что небытие не должно быть отнесено к чему-либо из существующего.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А если, стало быть, не к существующему, то не будет прав тот, кто отнесет небытие к чему-либо.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Но ведь для нас, видимо, ясно, что само выражение «что-либо» мы относим постоянно к существующему. Брать его одно, само по себе, как бы голым и отрешенным от существующего, невозможно. Не так ли?

Теэтет. Невозможно.

Чужеземец. Подходя таким образом, согласен ли ты, что, если кто говорит о чем-либо, тот необходимо должен говорить об этом как об одном?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь «что-либо», ты скажешь, обозначает одно, «оба» – два и, наконец, «несколько» обозначает множество.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, говорящий не о чем-либо, как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит.

Теэтет. Это в высшей степени необходимо.

Чужеземец. Не должно ли поэтому допустить и то, что такой человек пусть и ведет речь, однако ничего не высказывает? Более того, кто пытался бы говорить о небытии, того и говорящим назвать нельзя?

Теэтет. В таком случае наше рассуждение стало бы предельно затруднительным.

Чужеземец. Не говори так решительно. Имеется, дорогой мой, еще одно затруднение, весьма сильное и существенное. И оно касается самого исходного начала вопроса.

Теэтет. Что ты имеешь в виду? Скажи, не мешкая.

Чужеземец. Соединимо ли с бытием что-либо другое существующее?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. А сочтем ли мы возможным, чтобы к небытию когда-либо присоединилось что-нибудь из существующего?

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Всякое число ведь мы относим к области бытия?

Теэтет. Если только вообще что-нибудь следует признать бытием.

Чужеземец. Так нам поэтому не должно и пытаться прилагать к небытию числовое множество или единство.

Теэтет. Разумеется, согласно со смыслом нашего рассуждения, эта попытка была бы неправильна.

Чужеземец. Как же кто-либо смог бы произнести устами или вообще охватить мыслью несуществующие вещи или несуществующую вещь без числа?

Теэтет. Ну скажи, как?

Чужеземец. Когда мы говорим «несуществующие вещи», то не пытаемся ли мы прилагать здесь множественное число?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Если же мы говорим «несуществующая вещь», то, напротив, не единственное ли это число?

Теэтет. Ясно, что так.

Чужеземец. Однако же мы признаем несправедливой и неправильной попытку прилагать бытие к небытию.

Теэтет. Ты говоришь весьма верно.

Чужеземец. Понимаешь ли ты теперь, что небытие само по себе ни произнести правильно невозможно, ни выразить его, ни мыслить и что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Значит, я ошибся, когда утверждал недавно, что укажу на величайшее затруднение относительно него? Ведь мы можем указать другое, еще большее.

Теэтет. Какое именно?

Чужеземец. Как же, чудак! Или ты не замечаешь из сказанного, что и того, кто возражает против него, небытие приводит в такое затруднение, что, кто лишь примется его опровергать, бывает вынужден сам себе здесь противоречить?

Теэтет. Как ты говоришь? Скажи яснее.

Чужеземец. А по мне вовсе не стоит это яснее исследовать. Ведь, приняв, что небытие не должно быть причастно ни единому, ни многому, я, несмотря на это, все же назвал его «единым», так как говорю «небытие». Смекаешь ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Далее, несколько раньше я утверждал также, что оно невыразимо, необъяснимо и лишено смысла. Ты следишь за мной?

Теэтет. Слежу. Как же иначе?

Чужеземец. Но, пытаясь связать бытие [с небытием], не высказал ли я чего-то противоположного прежнему?

Теэтет. Кажется.

Чужеземец. Далее. Связывая бытие с небытием, не говорил ли я о небытии как о едином?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь, называя небытие лишенным смысла, необъяснимым и невыразимым, я как бы относил все это к чему-то единому.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А мы утверждаем, что тот, кто пожелал бы правильно выразиться, не должен определять небытие ни как единое, ни как многое и вообще не должен его как-то именовать. Ведь и через наименование оно было бы обозначено как вид единого.

Теэтет. Без сомнения.

Чужеземец. Так что же сказать тогда обо мне? Ведь пожалуй, я и прежде и теперь могу оказаться разбитым в моих обличениях небытия. Поэтому, как я уже сказал, не будем в моих словах искать правды о небытии, но давай обратимся к твоим.

Теэтет. Что ты говоришь?

Чужеземец. Ну, постарайся напрячь свои силы как можно полнее и крепче – ты ведь еще юноша – и попытайся, не приобщая ни бытия, ни единства, ни множества к небытию, высказать о нем что-либо правильно.

Теэтет. Поистине странно было бы, если бы я захотел попытаться это сделать, видя твою неудачу.

Чужеземец. Ну, если тебе угодно, оставим в покое и тебя и меня. И пока мы не нападем на человека, способного это сделать, до тех пор будем говорить, что софист как нельзя более хитро скрылся в неприступном месте.

Теэтет. Это вполне очевидно.

Чужеземец. Поэтому если мы будем говорить, что он занимается искусством, творящим лишь призрачное, то, придравшись к этому словоупотреблению, он легко обернет наши слова в противоположную сторону, спросив нас, что же мы вообще подразумеваем под отображением, называя его самого творцом отображений? Поэтому, Теэтет, надо смотреть, что ответить дерзкому на этот вопрос.

Теэтет. Ясно, что мы укажем на отображения в воде и зеркале, затем еще на картины и статуи и на все остальное в этом же роде.

Чужеземец. Очевидно, Теэтет, софиста ты еще и не видел.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Тебе покажется, что он либо жмурится, либо совсем не имеет глаз.

Теэтет. Почему?

Чужеземец. Когда ты дашь ему такой вот ответ, указывая на изображения в зеркалах и на изваяния, он посмеется над твоими объяснениями, так как ты станешь беседовать с ним как со зрячим, а он притворится, будто не знает ни зеркал, ни воды, ни вообще ничего зримого, и спросит тебя только о том, что следует из объяснений.

Теэтет. Но что же?

Чужеземец. Надо сказать, что обще всем этим вещам, которые ты считаешь правильным обозначить одним названием, хотя назвал их много, и именуешь их все отображением, как будто они есть нечто одно. Итак, говори и защищайся, ни в чем не уступая этому мужу.

Теэтет. Так что же, чужеземец, можем мы сказать об отображении, кроме того, что оно есть подобие истинного, такого же рода иное?

Чужеземец. Считаешь ли ты такого же рода иное истинным, или к чему ты относишь «такого же рода»?

Теэтет. Вовсе неистинным, но лишь ему подобным.

Чужеземец. Не правда ли, истинным ты называешь подлинное бытие?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Что же? Неистинное не противоположно ли истинному?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, ты подобное не относишь к подлинному бытию, если только называешь его неистинным.

Теэтет. Но ведь вообще-то оно существует.

Чужеземец. Однако не истинно, говоришь ты.

Теэтет. Конечно нет, оно действительно есть только образ.

Чужеземец. Следовательно, то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ?

Теэтет. Кажется, небытие с бытием образовали подобного рода сплетение, очень причудливое.

Чужеземец. Как же не причудливое? Видишь, из-за этого сплетения многоголовый софист принудил нас против воли согласиться, что небытие каким-то образом существует.

Теэтет. Вижу, и очень даже.

Чужеземец. Что же теперь? С помощью какого определения его искусства придем мы в согласие с самими собой?

Теэтет. Почему ты так говоришь и чего ты боишься?

Чужеземец. Когда мы утверждаем, что софист обманывает нас призраком и что искусство его обманчиво, не утверждаем ли мы этим, что наша душа из-за его искусства мнит ложное? Или как мы скажем?

Теэтет. Именно так. Что же другое мы можем сказать?

Чужеземец. Далее, ложное мнение – это мнение, противоположное тому, что существует. Не так ли?

Теэтет. Да, противоположное.

Чужеземец. Ты говоришь, следовательно, что ложное мнение – это мнение о несуществующем?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Представляет ли оно собой мнение о том, что несуществующего нет или что вовсе не существующее все-таки есть?

Теэтет. Несуществующее должно, однако, каким-то образом быть, если только когда-нибудь кто-то хоть в чем-то малом солжет.

Чужеземец. Что же? Не будет ли он также считать, что безусловно существующее вовсе не существует?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И это тоже ложь?

Теэтет. И это.

Чужеземец. Следовательно, положение, что существующее не существует или что несуществующее существует, думаю, будет точно так же считаться ложным.

Теэтет. Да и может ли оно быть иным?

Чужеземец. Вероятно, не может. Но этого софист не признает. И есть ли какой-нибудь способ толкнуть здравомыслящего человека на такую уступку, раз мы признали [в отношении небытия] то, о чем у нас шла речь раньше? Понимаем ли мы, Теэтет, что говорит софист?

Теэтет. Отчего же и не понять? Он скажет, что, дерзнув заявить, будто есть ложь и в мнениях, и в словах, мы противоречим тому, что недавно высказали. Ведь мы часто вынуждены связывать существующее с несуществующим, хотя недавно установили, что это менее всего возможно.

Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Но пора уже принять решение, что же нам делать с софистом? Ты видишь, сколь многочисленны и как легко возникают возражения и затруднения, когда мы разыскиваем его в искусстве обманщиков и шарлатанов.

Теэтет. Да, очень даже вижу.

Чужеземец. Мы разобрали лишь малую часть их, между тем как они, так сказать, бесконечны.

Теэтет. Как видно, схватить софиста невозможно, раз все это так.

Чужеземец. Что же? Отступим теперь из трусости?

Теэтет. Я полагаю, что не следует, если мы мало-мальски в силах его как-то поймать.

Чужеземец. Но ты будешь снисходителен и сообразно с только что сказанным удовлетворишься, если мы как-то мало-помалу выпутаемся из столь трудного рассуждения?

Теэтет. Отчего же мне не быть снисходительным?

Чужеземец. А больше того прошу тебя о следующем.

Теэтет. О чем?

Чужеземец. Чтобы ты не думал, будто я становлюсь в некотором роде отцеубийцей.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Защищаясь, нам необходимо будет подвергнуть испытанию учение нашего отца Парменида и всеми силами доказать, что небытие в каком-либо отношении существует и, напротив, бытие каким-то образом не существует.

Теэтет. Очевидно, нечто подобное нам и придется отстаивать в рассуждении.

Чужеземец. Да, по пословице, это видно и слепому. Ведь пока это не отвергнуто нами или не принято, едва ли кто окажется в состоянии говорить о лживых словах и мнениях, будет ли дело идти об отображениях, подражаниях и призраках или же обо всех занимающихся этим искусствах, не противореча по необходимости самому себе и не становясь таким образом смешным.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Ради этого-то и придется посягнуть на отцовское учение или же вообще отступить, если некий страх помешает нам это сделать.

Теэтет. Ничто не должно нас от этого удержать.

Чужеземец. Теперь я еще и в-третьих буду просить тебя об одной малости.

Теэтет. Ты только скажи.

Чужеземец. Недавно только я говорил, что всегда теряю надежду на опровержение всего этого, вот и теперь случилось то же.

Теэтет. Да, ты говорил.

Чужеземец. Боюсь, чтобы из-за сказанного не показаться тебе безумным, после того как я вдруг с ног встану на голову. Однако ради тебя мы все же возьмемся за опровержение учения [Парменида], если только мы его опровергнем.

Теэтет. Так как в моих глазах ты ничего дурного не сделаешь, если приступишь к опровержению и доказательству, то приступай смело.

Чужеземец. Ну ладно! С чего же прежде всего начать столь дерзновенную речь? Кажется мне, мой мальчик, что нам необходимо направиться по следующему пути.

Теэтет. По какому же?

Чужеземец. Прежде всего рассмотреть то, что представляется нам теперь очевидным, чтобы не сбиться с пути и не прийти легко к взаимному соглашению так, как будто нам все ясно.

Теэтет. Говори точнее, что ты имеешь в виду.

Чужеземец. Мне кажется, что Парменид, да и всякий другой, кто только когда-либо принимал решение определить, каково существующее количественно и качественно, говорили с нами, не придавая значения своим словам.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Каждый из них, представляется мне, рассказывает нам какую-то сказку, будто детям: один, что существующее – тройственно и его части то враждуют друг с другом, то становятся дружными, вступают в браки, рожают детей и питают потомков; другой, называя существующее двойственным – влажным и сухим или теплым и холодным, заставляет жить то и другое вместе и сочетаться браком. Наше элейское племя, начиная с Ксенофана, а то и раньше, говорит в своих речах, будто то, что называется «всем», – едино. Позднее некоторые ионийские и сицилийские Музы сообразили, что всего безопаснее объединить то и другое и заявить, что бытие и множественно и едино и что оно держится враждою и дружбою. «Расходящееся всегда сходится», говорят более строгие из Муз; более же уступчивые всегда допускали, что все бывает поочередно то единым и любимым Афродитой, то множественным и враждебным с самим собою вследствие какого-то раздора. Правильно ли кто из них обо всем этом говорит или нет – решить трудно, да и дурно было бы укорять столь славных и древних мужей. Но вот что кажется верным...

Теэтет. Что же?

Чужеземец. А то, что они, свысока взглянув на нас, большинство, слишком нами пренебрегли. Нимало не заботясь, следим ли мы за ходом их рассуждений или же нет, каждый из них упорно твердит свое.

Теэтет. Почему ты так говоришь?

Чужеземец. Когда кто-либо из них высказывает положение, что множественное, единое или двойственное есть, возникло или возникает и что, далее, теплое смешивается с холодным, причем предполагаются и некоторые другие разделения и смешения, то, ради богов, Теэтет, понимаешь ли ты всякий раз, что они говорят? Я, когда был помоложе, думал, что понимаю ясно, когда кто-либо говорил о том, что в настоящее время приводит нас в недоумение, именно о небытии. Теперь же ты видишь, в каком мы находимся по отношению к нему затруднении.

Теэтет. Вижу.

Чужеземец. Пожалуй, мы испытываем такое же точно состояние души и по отношению к бытию, хотя утверждаем, что ясно понимаем, когда кто-либо о нем говорит, что же касается небытия, то не понимаем; между тем мы в одинаковом положении по отношению как к тому, так и к другому.

Теэтет. Пожалуй.

Чужеземец. И обо всем прочем, сказанном раньше, нам надо выразиться точно так же.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. О многом мы, если будет угодно, поговорим и после, величайшее же и изначальное следует рассмотреть первым.

Теэтет. О чем, однако, ты говоришь? Ясно ведь, ты считаешь, что сначала надо тщательно исследовать бытие: чем оказывается оно у тех, кто берется о нем рассуждать?

Чужеземец. Ты, Теэтет, следуешь за мной прямо по пятам. Я говорю, что метод исследования нам надо принять такой, будто те находятся здесь и мы должны расспросить их следующим образом: «Ну-ка, вы все, кто только утверждает, что теплое и холодное или другое что-нибудь двойственное есть все, – что произносите вы о двух [началах бытия], когда говорите, будто существуют они оба вместе и каждое из них в отдельности? Как нам понимать это ваше бытие? Должны ли мы, по-вашему, допустить нечто третье кроме тех двух и считать все тройственным, а вовсе не двойственным? Ведь если вы назовете одно из двух [начал] бытием, то не сможете сказать, что оба они одинаково существуют, так как в том и другом случае было бы единое [начало], а не двойственное».

Теэтет. Ты говоришь верно.

Чужеземец. «Или вы хотите оба [начала] назвать бытием?»

Теэтет. Может быть.

Чужеземец. «Но, друзья, – скажем мы, – так вы весьма ясно назвали бы двойственное единым».

Теэтет. Ты совершенно прав.

Чужеземец. «Так как мы теперь в затруднении, то скажите нам четко, что вы желаете обозначить, когда произносите „бытие“. Ясно ведь, что вы давно это знаете, мы же думали, что знаем, а теперь вот затрудняемся. Поучите сначала нас этому, чтобы мы не воображали, будто постигаем то, что вы говорите, тогда как дело обстоит совершенно наоборот». Так говоря и добиваясь этого от них, а также от других, которые утверждают, что все больше одного, неужели мы, мой мальчик, допустим какую-либо ошибку?

Теэтет. Менее всего.

Чужеземец. Как же? Не должно ли у тех, кто считает все единым, выведать по возможности, что называют они бытием?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Пусть они ответят на следующее: «Вы утверждаете, что существует только единое?» «Конечно, утверждаем», скажут они. Не так ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. «Дальше. Называете ли вы что-нибудь бытием?»

Теэтет. Да.

Чужеземец. «То же ли самое, что вы называете единым, пользуясь для одного и того же двумя именами? Или как?»

Теэтет. Что же они ответят после этого, чужеземец?

Чужеземец. Ясно, Теэтет, что для того, кто выдвигает такое предположение, не очень-то легко ответить как на этот, так и на любой другой вопрос.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Допускать два наименования, когда считают, что не существует ничего, кроме единого, конечно, смешно.

Теэтет. Как не смешно!

Чужеземец. Да и вообще согласиться с говорящим, что имя есть что-то, не имело бы смысла.

Теэтет. Отчего?

Чужеземец. Кто допускает имя, отличное от вещи, тот говорит, конечно, о двойственном.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И действительно, если он принимает имя вещи за то же, что есть она сама, он либо будет вынужден произнести имя ничего, либо если он назовет имя как имя чего-то, то получится только имя имени, а не чего-либо другого.

Теэтет. Так.

Чужеземец. И единое, будучи лишь именем единого, окажется единым лишь по имени.

Теэтет. Это необходимо.

Чужеземец. Что же далее? Отлично ли целое от единого бытия или они признают его тождественным с ним?

Теэтет. Как же они не признают, если и теперь признают?

Чужеземец. Если, таким образом, как говорит и Парменид,

Вид его [целого] массе правильной сферы всюду подобен,
Равен от центра везде он, затем, что нисколько не больше,
Как и не меньше идет туда и сюда по закону,

если бытие именно таково, то оно имеет середину и края, а обладая этим, оно необходимо должно иметь части. Или не так?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Ничто, однако, не препятствует, чтобы разделенное на части имело в каждой части свойство единого и чтобы, будучи всем и целым, оно таким образом было единым.

Теэтет. Почему бы и нет?

Чужеземец. Однако ведь невозможно, чтобы само единое обладало этим свойством?

Теэтет. Отчего же?

Чужеземец. Истинно единое, согласно верному определению, должно, конечно, считаться полностью неделимым.

Теэтет. Конечно, должно.

Чужеземец. В противном случае, то есть будучи составленным из многих частей, оно не будет соответствовать определению.

Теэтет. Понимаю.

Чужеземец. Будет ли теперь бытие, обладающее, таким образом, свойством единого, единым и целым, или нам вовсе не следует принимать бытие за целое?

Теэтет. Ты предложил трудный выбор.

Чужеземец. Ты говоришь сущую правду. Ведь если бытие обладает свойством быть как-то единым, то оно уже не будет тождественно единому и все будет больше единого.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Далее, если бытие есть целое не потому, что получило это свойство от единого, но само по себе, то оказывается, что бытию недостает самого себя.

Теэтет. Истинно так.

Чужеземец. Согласно этому объяснению, бытие, лишаясь самого себя, будет уже небытием.

Теэтет. Так.

Чужеземец. И все снова становится больше единого, если бытие и целое получили каждое свою собственную природу.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Если же целое вообще не существует, то это же самое произойдет и с бытием, и ему предстоит не быть и никогда не стать бытием.

Теэтет. Отчего же?

Чужеземец. Возникшее – всегда целое, так что ни о бытии, ни о возникновении нельзя говорить как о чем-либо существующем, если в существующем не признавать целого.

Теэтет. Кажется несомненным, что это так.

Чужеземец. И действительно, никакая величина не должна быть нецелым, так как, сколь велико что-нибудь – каким бы великим или малым оно ни было, – столь великим целым оно по необходимости должно быть.

Теэтет. Совершенно верно.

Чужеземец. И тысяча других вещей, каждая в отдельности, будет вызывать бесконечные затруднения у того, кто говорит, будто бытие либо двойственно, либо только едино.

Теэтет. Это обнаруживает то, что и теперь почти уже ясно. Ведь одно влечет за собой другое, неся большую и трудноразрешимую путаницу относительно всего прежде сказанного.

Чужеземец. Мы, однако, не рассмотрели всех тех, кто тщательно исследует бытие и небытие, но довольны и этого. Дальше надо обратить внимание на тех, кто высказывается по-иному, дабы на примере всего увидеть, как ничуть не легче объяснить, что такое бытие, чем сказать, что такое небытие.

Теэтет. Значит, надо идти и против этих.

Чужеземец. У них, кажется, происходит нечто вроде борьбы гигантов из-за спора друг с другом о бытии.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.

Теэтет. Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случалось встречаться и мне.

Чужеземец. Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят первые, и то, что они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Теэтет, всегда происходит сильнейшая борьба.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Значит, нам надо потребовать от обеих сторон порознь объяснения, что они считают бытием.

Теэтет. Как же мы его будем требовать?

Чужеземец. От тех, кто полагает бытие в идеях, легче его получить, так как они более кротки, от тех же, кто насильственно все сводит к телу, труднее, да, может быть, и почти невозможно. Однако, мне кажется, с ними следует поступать так...

Теэтет. Как?

Чужеземец. Всего бы лучше исправить их делом, если бы только это было возможно; если же так не удастся, то мы сделаем это при помощи рассуждения, предположив у них желание отвечать нам более правильно, чем доселе. То, что признано лучшими людьми, сильнее того, что признано худшими. Впрочем, мы заботимся не о них, но ищем лишь истину.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Предложи же тем, кто стал лучше, тебе отвечать, и истолковывай то, что ими сказано.

Теэтет. Да будет так.

Чужеземец. Пусть скажут, как они полагают: есть ли вообще какое-либо смертное существо?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Не признают ли они его одушевленным телом?

Теэтет. Без сомнения.

Чужеземец. И считают душу чем-то существующим?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Дальше. Не говорят ли они, что одна душа – справедливая, другая – несправедливая, та – разумная, а эта – нет?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И не так ли они считают, что благодаря присутствию справедливости каждая душа становится такой-то, а из-за противоположных качеств – противоположною?

Теэтет. Да, и это они подтверждают.

Чужеземец. Но то, что может присутствовать в чем-либо или отсутствовать, непременно, скажут они, должно быть чем-то.

Теэтет. Они так и говорят.

Чужеземец. Когда же справедливость, разумность и любая другая добродетель, а также их противоположности существуют и существует также душа, в которой все это пребывает, то признают ли они что-либо из этого видимым и осязаемым или же все – невидимым?

Теэтет. Пожалуй, здесь нет ничего видимого.

Чужеземец. Что же? Неужели они утверждают, что вещи подобного рода имеют тело?

Теэтет. Здесь они уже не решают все одинаковым образом, но им кажется, что сама душа обладает телом, в отношении же разумности и каждого из того, о чем ты спросил, они не дерзают согласиться, что это вовсе не существует, и настаивать, что все это – тела.

Чужеземец. Нам ясно, Теэтет, что эти мужи исправились. Ведь те из них, которых породила земля, ни в чем не выказали бы робости, но всячески настаивали бы, что то, чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто.

Теэтет. Пожалуй, они так и думают, как ты говоришь.

Чужеземец. Спросим, однако, их снова: если они пожелают что-либо, хоть самое малое, из существующего признать бестелесным, этого будет достаточно. Ведь они должны будут тогда назвать то, что от природы присуще как вещам бестелесным, так и имеющим тело, и глядя на что они тому и другому приписывают бытие. Быть может, они окажутся в затруднении. Однако, если что-либо подобное случится, смотри, захотят ли они признать и согласиться с выдвинутым нами положением относительно бытия – что оно таково?

Теэтет. Но каково же? Говори, и мы это скоро увидим.

Чужеземец. Я утверждаю теперь, что все, обладающее по своей природе способностью либо воздействовать на что-то другое, либо испытывать хоть малейшее воздействие, пусть от

чего-то весьма незначительного и только один раз, все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно есть не что иное, как способность.

Теэтет. Ввиду того что в настоящее время они не могут сказать ничего лучшего, они принимают это определение.

Чужеземец. Прекрасно. Позже, быть может, и нам и им представится иное. Но для них пусть это останется у нас решенным.

Теэтет. Пусть останется.

Чужеземец. Теперь давай обратимся к другим, к друзьям идей; ты же толкуй нам и их ответы.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Вы говорите о становлении и бытии, как-то их различая. Не так ли?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И говорите, что к становлению мы приобщаемся телом с помощью ощущения, душой же с помощью размышления приобщаемся к подлинному бытию, о котором вы утверждаете, что оно всегда само себе тождественно, становление же всякий раз иное.

Теэтет. Действительно, мы говорим так.

Чужеземец. Но как нам сказать, о наилучшие из людей, что в обоих случаях вы называете приобщением? Не то ли, о чем мы упомянули раньше?

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Стрдание или действие, возникающее вследствие некой силы, рождающейся от взаимной встречи вещей. Быть может, Теэтет, ты и не слышишь их ответа на это, я же, пожалуй, благодаря близости с ними слышу.

Теэтет. Какое же, однако, приводят они объяснение?

Чужеземец. Они не сходятся с нами в том, что недавно было сказано людям земли относительно бытия.

Теэтет. В чем же именно?

Чужеземец. Мы выставили как достаточное определение существующего то, что нечто обладает способностью страдать или действовать, хотя бы даже и в весьма малом.

Теэтет. Да.

Чужеземец. На это, однако, они возражают, что способность страдать или действовать принадлежит становлению, но с бытием, как они утверждают, не связана способность ни того ни другого.

Теэтет. Разве так они говорят?

Чужеземец. Ну а нам надо на это ответить, что мы должны яснее у них узнать, признают ли они, что душа познает, а бытие познается?

Теэтет. Это они действительно говорят.

Чужеземец. Что же? Считаете ли вы, что познавать или быть познаваемым – это действие или страдание или то и другое вместе? Или одно из них – страдание, а другое – действие? Или вообще ни то ни другое не причастно ни одному из двух [состояний]?

Теэтет. Ясно, что ничто из двух ни тому ни другому не причастно, иначе они высказали бы утверждение, противоположное прежнему.

Чужеземец. Понимаю. Если познавать значит как-то действовать, то предмету познания, напротив, необходимо страдать. Таким образом, бытие, согласно этому рассуждению, познаваемое познанием, насколько познается, настолько же находится в движении в силу своего страдания, которое, как мы говорим, не могло бы возникнуть у пребывающего в покое.

Теэтет. Справедливо.

Чужеземец. И ради Зевса, дадим ли мы себя легко убедить в том, что движение, жизнь, душа и разум не причастны совершенному бытию и что бытие не живет и не мыслит, но возвышенное и чистое, не имея ума, стоит неподвижно в покое?

Теэтет. Мы допустили бы, чужеземец, поистине чудовищное утверждение!

Чужеземец. Но должны ли мы утверждать, что оно обладает умом, жизнью же нет?

Теэтет. Как можно?!

Чужеземец. Но, согласившись в том, что ему присущи и то и другое, станем ли мы утверждать, что они находятся у него в душе?

Теэтет. Но каким иным образом могло бы оно их иметь?

Чужеземец. Так станем ли мы утверждать, что, имея ум, жизнь и душу, бытие совсем неподвижно, хотя и одушевлено?

Теэтет. Мне все это кажется нелепым.

Чужеземец. Потому-то и надо допустить, что движимое и движение существуют.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Итак, Теэтет, выходит, что если существующее неподвижно, то никто нигде ничего не мог бы осмыслить.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. И однако же, если мы, с другой стороны, признаем все несущимся и движущимся, то этим утверждением мы исключаем тождественное из области существующего.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Думаешь ли ты, что без покоя могли бы существовать тождественное, само себе равное и находящееся в одном и том же отношении?

Теэтет. Никогда.

Чужеземец. Что же далее? Понимаешь ли ты, как без всего этого мог бы где бы то ни было существовать или возникнуть ум?

Теэтет. Менее всего.

Чужеземец. И действительно, надо всячески словом бороться с тем, кто, устранив знание, разум и ум, в то же время каким-то образом настойчиво что-либо утверждает.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Таким образом, философу, который все это очень высоко ценит, как кажется, необходимо вследствие этого не соглашаться с признающими одну или много идей, будто все пребывает в покое, и совершенно не слушать тех, кто, напротив, приписывает бытию всяческое движение, но надо, подражая мечте детей, чтобы все неподвижное двигалось, признать бытие и все и движущимся и покоящимся.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Что же, однако? Не достаточно ли уже, как представляется, мы охватили в своем рассуждении бытие?

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Вот тебе и на, Теэтет! А я бы сказал, что именно теперь мы и познаем всю трудность исследования бытия.

Теэтет. Как это? Что ты сказал?

Чужеземец. Не замечаешь ли ты, мой милый, что мы сейчас оказались в совершенном неведении относительно бытия, а между тем нам кажется, будто мы о нем что-то говорим.

Теэтет. Мне кажется, да. Однако я совсем не понимаю, как мы могли незаметно оказаться в таком положении.

Чужеземец. Но посмотри внимательнее: если мы теперь со всем этим соглашаемся, как бы нам по праву не предложили тех же вопросов, с которыми мы сами обращались к тем, кто признает, будто все есть теплое и холодное.

Теэтет. Какие же это вопросы? Напомни мне.

Чужеземец. Охотно. И я попытаюсь это сделать, расспрашивая тебя, как тогда тех, чтобы нам вместе продвинуться вперед.

Теэтет. Это правильно.

Чужеземец. Ну, хорошо. Не считаешь ли ты движение и покой полностью противоположными друг другу?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. И несомненно, ты полагаешь, что оба они и каждое из них в отдельности одинаково существуют?

Теэтет. Конечно, я так говорю.

Чужеземец. Не думаешь ли ты, что оба и каждое из них движутся, раз ты признаешь, что они существуют?

Теэтет. никоим образом.

Чужеземец. Значит, говоря, что оба они существуют, ты этим обозначаешь, что они пребывают в покое?

Теэтет. Каким же образом?

Чужеземец. Допуская в душе рядом с теми двумя нечто третье, а именно бытие, котормым как бы охватываются и движение и покой, не считаешь ли ты, окидывая одним взглядом их приобщение к бытию, что оба они существуют?

Теэтет. Кажется, мы действительно предугадываем что-то третье, а именно бытие, раз мы утверждаем, что движение и покой существуют.

Чужеземец. Таким образом, не движение и покой, вместе взятые, составляют бытие, но оно есть нечто отличное от них.

Теэтет. Кажется, так.

Чужеземец. Следовательно, бытие по своей природе и не стоит и не движется.

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Куда же еще должен направить свою мысль тот, кто хочет наверняка добиться какой-то ясности относительно бытия?

Теэтет. Куда же?

Чужеземец. Я думаю, что с легкостью – никуда: ведь если что-либо не движется, как может оно не пребывать в покое? И напротив, как может не двигаться то, что вовсе не находится в покое? Бытие же у нас теперь оказалось вне того и другого. Разве это возможно?

Теэтет. Менее всего возможно.

Чужеземец. При этом по справедливости надо вспомнить о следующем...

Теэтет. О чем?

Чужеземец. А о том, что мы, когда нас спросили, к чему следует относить имя «небытие», полностью стали в тупик. Ты помнишь?

Теэтет. Как не помнить?

Чужеземец. Неужели же по отношению к бытию мы находимся теперь в меньшем затруднении?

Теэтет. Мне по крайней мере, чужеземец, если можно так сказать, кажется, что в еще большем.

Чужеземец. Пусть это, однако, остается здесь под сомнением. Так как и бытие и небытие одинаково связаны с нашим недоумением, то можно теперь надеяться, что насколько одно из двух окажется более или менее ясным, и другое явится в том же виде. И если мы не в силах познать ни одного из них в отдельности, то будем по крайней мере самым надлежащим образом насколько это возможно – продолжать наше исследование об обоих вместе.

Теэтет. Прекрасно.

Чужеземец. Давай объясним, каким образом мы всякий раз называем одно и то же многими именами?

Теэтет. О чем ты? Приведи пример.

Чужеземец. Говоря об одном человеке, мы относим к нему много различных наименований, приписывая ему и цвет, и очертания, и величину, и пороки, и добродетели, и всем

этим, а также тысячью других вещей говорим, что он не только человек, но также и добрый и так далее, до бесконечности; таким же образом мы поступаем и с остальными вещами: полагая каждую из них единой, мы в то же время считаем ее множественной и называем многими именами.

Теэтет. Ты говоришь правду.

Чужеземец. Этим-то, думаю я, мы уготовили пир и юношам и недоучившимся старикам: ведь у всякого прямо под руками оказывается возражение, что невозможно-де многому быть единым, а единому – многим, и всем им действительно доставляет удовольствие не допускать, чтобы человек назывался добрым, но говорить, что доброе – добро, а человек – лишь человек. Тебе, Теэтет, я думаю, часто приходится сталкиваться с людьми, иногда даже уже пожилыми, ревностно занимающимися такими вещами: по своему скудоумию они всему этому Дивятся и считают, будто открыли здесь нечто сверхмудрое.

Теэтет. Конечно, приходилось.

Чужеземец. Чтобы, таким образом, наша речь была обращена ко всем, кто когда-либо хоть как-то рассуждал о бытии, пусть и этим, и всем остальным, с кем мы раньше беседовали, будут предложены вопросы о том, что должно быть выяснено.

Теэтет. Какие же вопросы?

Чужеземец. Ставим ли мы в связь бытие с движением и покоем или нет, а также что-либо другое с чем бы то ни было другим, или, поскольку они несмешиваемы и неспособны приобщаться друг к другу, мы их за таковые и принимаем в своих рассуждениях? Или же мы все, как способное взаимодействовать, сведем к одному и тому же? Или же одно сведем, а другое нет? Как мы скажем, Теэтет, что они из всего этого предпочтут?

Теэтет. На это я ничего не могу за них возразить.

Чужеземец. Отчего бы тебе, отвечая на каждый вопрос в отдельности, не рассмотреть все, что из этого следует?

Теэтет. Ты говоришь дело.

Чужеземец. Во-первых, если хочешь, допустим, что они говорят, будто ничто не обладает никакой способностью общения с чем бы то ни было. Стало быть, движение и покой никак не будут причастны бытию?

Теэтет. Конечно, нет.

Чужеземец. Что же? Не приобщаясь к бытию, будет ли из них что-либо существовать?

Теэтет. Не будет.

Чужеземец. Быстро, как видно, все рухнуло из-за этого признания и у тех, кто все приводит в движение, и у тех, кто заставляет все, как единое, покоиться, и также у тех, кто связывает существующее с идеями и считает его всегда самому себе тождественным. Ведь все они присоединяют сюда бытие, говоря: одни – что [все] действительно движется, другие же – что оно действительно существует как неподвижное.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. В самом деле, и те, которые все то соединяют, то расчленяют, безразлично, соединяют ли они это в одно или разлагают это одно на бесконечное либо же конечное число начал и уже их соединяют воедино, все равно, полагают ли они, что это бывает попеременно или постоянно, в любом случае их слова ничего не значат, если не существует никакого смешения.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Далее, самыми смешными участниками рассуждения оказались бы те, кто вовсе не допускает, чтобы что-либо, приобщаясь к свойству другого, называлось другим.

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Принужденные в отношении ко всему употреблять выражения «быть», «отдельно», «иное», «само по себе» и тысячи других, воздержаться от которых и не привносить

их в свои речи они бессильны, они и не нуждаются в других обличителях, но постоянно бродят вокруг, таща за собою, как принято говорить, своего домашнего врага и будущего противника, подающего голос изнутри, подобно достойному удивления Евриклу.

Теэтет. То, что ты говоришь, вполне правдоподобно и истинно.

Чужеземец. А что, если мы у всего признаем способность к взаимодействию?

Теэтет. Это и я в состоянии опровергнуть.

Чужеземец. Каким образом?

Теэтет. А так, что само движение совершенно остановилось бы, а с другой стороны, сам покой бы задвигался, если бы они пришли в соприкосновение друг с другом.

Чужеземец. Однако высшая необходимость препятствует тому, чтобы движение покоилось, а покой двигался.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Значит, остается лишь треть.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И действительно, необходимо что-либо одно из всего этого: либо чтобы все было склонно к смешению, либо ничто, либо одно склонно, а другое нет.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Первые два [предположения] были найдены невозможными.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Следовательно, каждый, кто только желает верно ответить, допустит оставшееся из трех.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Когда же одно склонно к смешению, а другое нет, то должно произойти то же самое, что и с буквами: одни из них не сочетаются друг с другом, другие же сочетаются.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Гласные преимущественно перед другими проходят через все, словно связующая нить, так что без какой-либо из них невозможно сочетать остальные буквы одну с другой.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Всякому ли известно, какие [буквы] с какими способны сочетаться, или тому, кто намерен это делать должным образом, требуется искусство?

Теэтет. Нужно искусство.

Чужеземец. Какое?

Теэтет. Грамматика.

Чужеземец. Дальше. Не так ли обстоит дело с высокими и низкими звуками? Не есть ли владеющий искусством понимать, какие звуки сочетаются и какие нет, музыкант, а не сведущий в этом – немусыкант?

Теэтет. Так.

Чужеземец. И по отношению к другим искусствам и неискусности мы найдем подобное же.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Что же? Так как мы согласны в том, что и роды [вещей] находятся друг с другом в подобном же сочетании, то не с помощью ли некоего знания должен отыскивать путь в своих рассуждениях тот, кто намерен правильно указать, какие роды с какими сочетаются и какие друг друга не принимают, а также, во всех ли случаях есть связь между ними, так чтобы они были способны смешиваться, и, наоборот, при разделении – всюду ли существуют разные причины разделения?

Теэтет. Так же не нужно знания и едва ли не самого важного?

Чужеземец. Но как, Теэтет, назовем мы теперь это знание? Или, ради Зевса, не напали ли мы незаметно для себя на науку людей свободных и не кажется ли, что, ища софиста, мы отыскивали раньше философа?

Теэтет. Что ты хочешь сказать?

Чужеземец. Различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый – неужели мы не скажем, что это [предмет] диалектического знания?

Теэтет. Да, скажем.

Чужеземец. Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Все это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет.

Теэтет. Истинно так.

Чужеземец. Ты, думаю я, диалектику никому другому не припишешь, кроме как искренне и справедливо философствующему?

Теэтет. Как может кто-либо приписать ее другому?

Чужеземец. Философа мы, без сомнения, найдем и теперь и позже в подобной области, если поищем; однако и его трудно ясно распознать, хотя трудность в отношении софиста иного рода, чем эта.

Теэтет. Почему?

Чужеземец. Один, убегающий во тьму небытия, куда он направляется по привычке, трудноузнаваем из-за темноты места. Не так ли?

Теэтет. По-видимому.

Чужеземец. Философа же, который постоянно обращается разумом к идее бытия, напротив, нелегко различить из-за ослепительного блеска этой области: духовные очи большинства не в силах выдержать созерцания божественного.

Теэтет. Видно, это верно в той же степени, что и то.

Чужеземец. Таким образом, что касается философа, то мы его вскоре рассмотрим яснее, если будем чувствовать к тому охоту; но очевидно также, что нельзя оставлять и софиста, не рассмотрев его в достаточной степени.

Теэтет. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Таким образом, мы согласились, что одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и что некоторые – лишь с немногими [видами], другие – со многими, третьи же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми; теперь мы должны идти дальше в нашей беседе, так, чтобы нам коснуться не всех видов, дабы из-за множества их не прийти в смущение, но избрать лишь те, которые считаются главнейшими, и прежде всего рассмотреть, каков каждый из них, а затем, как обстоит дело с их способностью взаимодействия. И тогда, если мы и не сможем со всей ясностью постичь бытие и небытие, то, по крайней мере, не окажемся, насколько это допускает способ теперешнего исследования, несостоятельными в их объяснении, если только, говоря о небытии, что это действительно небытие, нам удастся уйти отсюда невредимыми.

Теэтет. Конечно, надо так сделать.

Чужеземец. Самые главные роды, которые мы теперь обследуем, это само бытие, покой и движение.

Теэтет. Да, это самые главные.

Чужеземец. И о двух из них мы говорим, что они друг с другом несовместимы.

Теэтет. Несомненно.

Чужеземец. Напротив, бытие совместимо с тем и с другим. Ведь оба они существуют.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Следовательно, всего их три.

Теэтет. Бесспорно.

Чужеземец. Каждый из них есть иное по отношению к остальным двум и тождественное по отношению к себе самому.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Чем же, однако, мы теперь считаем тождественное и иное? Может быть, это какие-то два рода, отличные от тех трех, но по необходимости всегда с ними смешивающиеся? В этом случае исследование должно вестись относительно пяти существующих родов, а не трех, или же, сами того не замечая, мы называем тождественным и иным что-то одно из тех [трех]?

Теэтет. Может быть.

Чужеземец. Но движение и покой не есть, верно, ни иное, ни тождественное?

Теэтет. Как так?

Чужеземец. То, что мы высказали бы сразу и о движении и о покое, не может быть ни одним из них.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Движение тогда остановится, а покой, напротив, будет двигаться; ведь одно из этих двух, какое бы оно ни было, вступая в область обоих, заставит иное снова превратиться в противоположное своей собственной природе, поскольку оно причастно противоположному.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Ведь теперь оба они причастны и тождественному и иному.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Поэтому мы не должны говорить ни о движении, что оно тождественное или иное, ни о покое.

Теэтет. Конечно, не должны.

Чужеземец. Но не следует ли нам мыслить бытие и тождественное как нечто одно?

Теэтет. Возможно.

Чужеземец. Но если бытие и тождественное не означают ничего различного, то, говоря о движении и покое, что оба они существуют, мы назовем, таким образом, и то и другое, как существующее, тождественным.

Теэтет. Но это невозможно.

Чужеземец. Значит, невозможно, чтобы бытие и тождественное были одним.

Теэтет. Похоже на это.

Чужеземец. В таком случае, не допустим ли мы рядом с тремя видами четвертый: тождественное?

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Дальше. Не следует ли нам считать иное пятым [видом]? Или должно его и бытие мыслить как два названия для одного рода?

Теэтет. Возможно.

Чужеземец. Впрочем, думаю, ты согласишься, что из существующего одно считается [существующим] само по себе, другое же лишь относительно другого.

Теэтет. Отчего же не согласиться?

Чужеземец. Иное же всегда [существует лишь] по отношению к иному. Не так ли?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Не совсем, если бытие и иное не вполне различаются. Если бы, однако, иное было причастно обоим видам как бытие, то одно из иного было бы иным совсем не относительно иного. Теперь же у нас попросту получилось, что то, что есть иное, есть по необходимости иное в отношении иного.

Теэтет. Ты говоришь так, как это и обстоит на самом деле.

Чужеземец. Следовательно, пятой среди тех видов, которые мы выбрали, надо считать природу иного.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы скажем, что эта природа проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие причастности идее иного.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Об этих пяти [видах], перебирая их поодиночке, мы выразились бы так...

Теэтет. Как именно?

Чужеземец. Во-первых, движение есть совсем иное, чем покой. Или как мы скажем?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Таким образом, оно – не покой.

Теэтет. никоим образом.

Чужеземец. Существует же оно вследствие причастности бытию?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И опять-таки движение есть иное, чем тождественное.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Значит, оно – нетождественное.

Теэтет. Конечно, нет.

Чужеземец. Однако оно было тождественным вследствие того, что все причастно тождественному.

Теэтет. Да, и очень.

Чужеземец. Надо согласиться, что движение есть и тождественное и нетождественное, и не огорчаться. Ведь, когда мы называли его тождественным и нетождественным, мы выразились неодинаково: Коль скоро мы называем его тождественным, мы говорим так из-за его причастности тождественному в отношении к нему самому; если же, напротив, мы называем его нетождественным, то это происходит вследствие его взаимодействия с иным, благодаря чему, отделившись от тождественного, движение стало не этим, но иным, так что оно снова справедливо считается нетождественным.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Поэтому, если бы каким-то образом само движение приобщалось к покою, не было бы ничего странного в том, чтобы назвать его неподвижным.

Теэтет. Вполне справедливо, если мы согласимся, что одни роды склонны смешиваться, другие же нет.

Чужеземец. К доказательству этого положения мы пришли еще раньше теперешних доказательств, когда утверждали, что так оно по природе и есть.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Скажем, однако, снова: движение отлично от иного, равно как оно есть другое по отношению к тождественному и покою?

Теэтет. Безусловно.

Чужеземец. Стало быть, согласно настоящему объяснению, оно каким-то образом есть и иное и не иное.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Что же дальше? Будем ли мы утверждать, что движение иное по отношению к трем [видам], а о четвертом не скажем этого, признав в то же время, что всех видов, о которых и в пределах которых мы желаем вести исследование, пять?

Теэтет. Как же? Ведь невозможно согласиться на меньшее число, чем то, что вышло теперь.

Чужеземец. Итак, мы смело должны защищать положение, что движение есть иное по отношению к бытию?

Теэтет. Да, как можно смелее.

Чужеземец. Не ясно ли, однако, что движение на самом деле есть и небытие, и бытие, так как оно причастно бытию?

Теэтет. Весьма ясно.

Чужеземец. Небытие, таким образом, необходимо имеется как в движении, так и во всех родах. Ведь распространяющаяся на все природа иного, делая все иным по отношению к бытию, превращает это в небытие, и, следовательно, мы по праву можем назвать все без исключения небытием и в то же время, так как оно причастно бытию, назвать это существующим.

Теэтет. Похоже на то.

Чужеземец. В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия.

Теэтет. Кажется.

Чужеземец. Таким образом, надо сказать, что и само бытие есть иное по отношению к прочим [видам].

Теэтет. Это необходимо.

Чужеземец. И следовательно, во всех тех случаях, где есть другое, у нас не будет бытия. Раз оно не есть другое, оно будет единым; тем же, другим, бесконечным по числу, оно, напротив, не будет.

Теэтет. Похоже, что так.

Чужеземец. Не следует огорчаться этим, раз роды по своей природе взаимодействуют. Если же кто с этим не согласен, пусть тот опровергнет сначала наши предыдущие рассуждения, а затем также и последующие.

Теэтет. Ты сказал весьма справедливо.

Чужеземец. Посмотрим-ка вот что.

Теэтет. Что именно?

Чужеземец. Когда мы говорим о небытии, мы разумеем, как видно, не что-то противоположное бытию, но лишь иное.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Ведь если мы, например, называем что-либо небольшим, кажется ли тебе, что этим выражением мы скорее обозначаем малое, чем равное?

Теэтет. А как же.

Чужеземец. Следовательно, если бы утверждалось, что отрицание означает противоположное, мы бы с этим не согласились или согласились бы лишь настолько, чтобы «не» и «нет» означали нечто другое по отношению к рядом стоящим словам, либо, еще лучше, вещам, к которым относятся высказанные вслед за отрицанием слова.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Подумаем-ка, если и тебе угодно, о следующем.

Теэтет. О чем же?

Чужеземец. Природа иного кажется мне раздробленной на части подобно знанию.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. И знание едино, но всякая часть его, относящаяся к чему-либо, обособлена и имеет какое-нибудь присущее ей имя. Поэтому-то и говорится о многих искусствах и знаниях.

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Поэтому и части природы иного, которая едина, испытывают то же самое.

Теэтет. Может быть. Но каким, скажем мы, образом?

Чужеземец. Не противоположна ли какая-либо часть иного прекрасному?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Сочтем ли мы ее безымянной или имеющей какое-то имя?

Теэтет. Имеющей имя; ведь то, что мы каждый раз называем некрасивым, есть иное не для чего-либо другого, а лишь для природы прекрасного.

Чужеземец. Ну хорошо, скажи мне теперь следующее.

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Не выходит ли, что некрасивое есть нечто отделенное от какого-то рода существующего и снова противопоставленное чему-либо из существующего?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Оказывается, некрасивое есть противопоставление бытия бытию.

Теэтет. Весьма справедливо.

Чужеземец. Что же? Не принадлежит ли у нас, согласно этому рассуждению, красивое в большей степени к существующему, некрасивое же в меньшей?

Теэтет. Никоим образом.

Чужеземец. Следовательно, надо признать, что и небольшое и самое большое одинаково существуют.

Теэтет. Одинаково.

Чужеземец. Не должно ли и несправедливое полагать тождественным справедливому в том отношении, что одно из них существует нисколько не меньше другого?

Теэтет. Отчего же нет?

Чужеземец. Таким же образом будем говорить и о прочем, коль скоро природа иного оказалась принадлежащей к существующему. Если же иное существует, то не в меньшей степени нужно полагать существующими и его части.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Поэтому, как кажется, противопоставление природы части иного бытию есть, если позволено так сказать, нисколько не меньшее бытие, чем само бытие, причем оно не обозначает противоположного бытию, но лишь указывает на иное по отношению к нему.

Теэтет. Совершенно ясно.

Чужеземец. Как же нам его назвать?

Теэтет. Очевидно, это то самое небытие, которое мы исследовали из-за софиста.

Чужеземец. Может быть, как ты сказал, оно с точки зрения бытия не уступает ничему другому и должно смело теперь говорить, что небытие, бесспорно, имеет свою собственную природу, и подобно тому, как большое было большим, прекрасное – прекрасным, небольшое – небольшим и некрасивое некрасивым, так и небытие, будучи одним среди многих существующих видов, точно таким же образом было и есть небытие? Или по отношению к нему, Теэтет, мы питаем еще какое-либо сомнение?

Теэтет. Никакого.

Чужеземец. А знаешь ли, мы ведь совсем не послушались Парменида в том, что касалось его запрета.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Стремясь в исследовании вперед, мы доказали ему больше того, что он дозволил рассматривать.

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. А так, ведь он где-то сказал:

Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было;
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль.

Теэтет. Конечно, он так сказал.

Чужеземец. А мы не только доказали, что есть несуществующее, но и выяснили, к какому виду относится небытие. Ведь, указывая на существование природы иного и на то, что она распределена по всему существующему, находящемуся во взаимосвязи, мы отважились сказать, что каждая часть природы иного, противопоставленная бытию, и есть действительно то самое небытие.

Теэтет. И кажется мне, чужеземец, мы сказали это в высшей степени правильно.

Чужеземец. Пусть же никто не говорит о нас, будто мы, представляя небытие противоположностью бытия, осмеливаемся утверждать, что оно существует. Ведь о том, что противоположно бытию, мы давно уже оставили мысль решить, существует ли оно или нет, обладает ли смыслом или совсем бессмысленно. Относительно же того, о чем мы теперь говорили, будто небытие существует, пусть нас либо кто-нибудь в этом разубедит, доказав, что мы говорим не дело, либо, пока он не в состоянии этого сделать, пусть говорит то же, что утверждаем и мы, а именно что роды между собой перемешиваются и что в то время, как бытие и иное пронизывают все и друг друга, само иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к бытию, оно – совершенно ясно – необходимо должно быть небытием. С другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо него самого, так что снова в тысячах тысяч случаев бытие, бесспорно, не существует; и все остальное, каждое в отдельности и все в совокупности, многими способами существует, многими же – нет.

Теэтет. Это верно.

Чужеземец. Если, однако, кто-либо не верит этим противоречиям, то ему надо произвести исследование самому и привести нечто лучшее, чем сказанное теперь. Если же он, словно измыслив что-либо трудное, находит удовольствие в том, чтобы растягивать рассуждение то в ту, то в другую сторону, то он занялся бы делом, не стоящим большого прилежания, как подтверждает наша беседа. Ведь изобрести это и не хитро, и не трудно, а вот то – и трудно, и в такой же мере прекрасно.

Теэтет. Что именно?

Чужеземец. А то, что было сказано раньше: допустив все это как возможное, быть в состоянии следовать за тем, что говорится, отвечая на каждое возражение в том случае, если кто-либо станет утверждать, будто иное каким-то образом есть тождественное или тождественное есть иное в том смысле и отношении, в каких, будет он утверждать, это каждому из них подобает. Но объявлять тождественное каким-то образом иным, а иное тождественным, большое малым или подобное неподобным и находить удовольствие в том, чтобы в рассуждениях постоянно высказывать противоречия, это не истинное опровержение, здесь чувствуется новизна, который лишь недавно стал заниматься существующим.

Теэтет. Именно так.

[Возможность лжи в речах и мнениях]

Чужеземец. И в самом деле, дорогой мой, пытаться отделять все от всего и вообще-то не годится, и обычно это свойственно человеку необразованному и нефилософу.

Теэтет. Почему же?

Чужеземец. Разъединять каждое со всем остальным означает полное уничтожение всех речей, так как речь возникает у нас в результате взаимного переплетения идей.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. Обрати поэтому внимание, как была полезна для нас сейчас борьба с такими людьми и как хорошо, что мы заставили их допустить смешение одного с другим.

Теэтет. В каком отношении?

Чужеземец. А в том, что речь для нас – это один из родов существующего: лишившись ее, мы, что особенно важно, лишились бы философии. Нам теперь же надо прийти к соглашению о том, что такое речь. Если бы она была у нас отнята или ее бы совсем не существовало, мы ничего не могли бы высказать. А ведь мы бы лишились ее, если бы признали, что нет никакого смешения между чем бы то ни было.

Теэтет. Это справедливо. Но я не понимаю, для чего надо согласиться относительно речи.

Чужеземец. Быть может, ты скорее бы понял, следуя вот каким путем.

Теэтет. Каким?

Чужеземец. Небытие явилось у нас как один из родов, рассеянный по всему существующему.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Поэтому надо теперь рассмотреть, смешивается ли оно с мнением и речью.

Теэтет. Как так?

Чужеземец. Если оно с ними не смешивается, все по необходимости должно быть истинным, если же смешивается, мнение становится ложным и речь тоже, так как мнить или высказывать несуществующее – это и есть заблуждение, возникающее в мышлении и речах.

Теэтет. Так.

Чужеземец. А если есть заблуждение, то существует и обман.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Но если существует обман, тогда все необходимо должно быть полно отображений, образов и призраков.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. О софисте мы сказали, что, хотя он и скрылся в этой области, сам он, однако, полностью отрицал существование лжи: мол, о небытии никто не мыслит и не говорит и оно никак не причастно бытию.

Теэтет. Да, так и было.

Чужеземец. Теперь же небытие оказалось причастным бытию, так что он, пожалуй, не станет здесь спорить. Но он легко может сказать, что одни из идей причастны небытию, другие – нет и что речь и мнение как раз относятся к непричастным. Поэтому софист снова может спорить, что вовсе нет искусства, творящего отображения и призраки, в области которого, как мы утверждаем, он пребывает, раз мнение и речь не взаимодействуют с небытием. Заблуждения вовсе не существует, раз не существует такого взаимодействия. Поэтому прежде всего надлежит точно исследовать, что такое речь, мнение и представление, дабы, когда они для нас станут ясными, мы увидели и их взаимодействие с небытием; видя это последнее, мы сможем доказать, что заблуждение существует, доказавши же это, мы свяжем с ним софиста, если, конечно, он в нем виновен, или, оставив его на свободе, станем искать его в ином роде.

Теэтет. Вполне справедливо, чужеземец, было вначале сказано о софисте, что род этот неуловим. У него, как кажется, полно прикрытий, и, когда он какое-нибудь из них выставит, то приходится его преодолевать, прежде чем удастся добраться до самого софиста. Едва мы теперь одолели одно прикрытие – что, мол, небытия нет, как уже другое пущено в ход, и теперь надо доказать, что существует заблуждение и в речах и в мнениях, а вслед за этим, быть может, возникнет еще одно, а после еще и другое, и, кажется, никогда им не будет конца.

Чужеземец. Не надо, Теэтет, терять мужества тому, кто может хоть понемножку пробираться вперед. Кто падает духом в таких случаях, что будет он делать в других, когда либо ни в чем не преуспеет, либо будет отброшен назад? Такой, по словам пословицы, едва ли когда возьмет город. Теперь, мой дорогой, когда с тем, о чем ты говоришь, покончено, нами должна быть взята самая высокая стена; остальное будет легче и менее значительно.

Теэтет. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Прежде всего, как уже сказано возьмем-ка речь и мнение, дабы дать себе ясный отчет: соприкасается ли с ними небытие или и то и другое безусловно истинны и ни одно из них никогда не бывает заблуждением.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Давай, как мы говорили об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и слова, так как примерно таким путем раскрывается то, что мы теперь ищем.

Теэтет. На что же надо обратить внимание в словах?

Чужеземец. А вот на что: все ли они сочетаются друг с другом или ни одно из них? Или некоторые склонны к этому, другие же нет?

Теэтет. Ясно, что одни склонны, а другие нет.

Чужеземец. Быть может, ты думаешь так: те, что, будучи произнесены одно за другим, что-то выражают, между собой сочетаются, те же, последовательность которых ничего не обозначает, не сочетаются.

Теэтет. Как? Что ты сказал?

Чужеземец. То, что, как я думал, ты принял и в чем со мной согласился. У нас ведь есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Один называется именем, другой – глаголом.

Теэтет. Расскажи о каждом из них.

Чужеземец. Обозначение действий мы называем глаголом.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем именем.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Но из одних имен, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесенных без имен.

Теэтет. Этого я не понял.

Чужеземец. Очевидно, недавно согласившись со мною, ты имел в виду что-то другое; ведь я хотел только сказать, что эти слова, высказанные в таком порядке, не представляют собою речь.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Возьми, например, [глаголы] «идет», «бежит», «спит» и все прочие слова, обозначающие действие: если бы кто-нибудь произнес их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи.

Теэтет. Да и как он мог бы составить?

Чужеземец. Таким же образом, если произносится «лев», «олень», «лошадь» и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их последовательности не возникает речь. Высказанное никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто-либо не соединит глаголов с именами. Тогда все налажено, и первое же сочетание [имени с глаголом] становится тотчас же речью – в своем роде первую и самую маленькую из речей.

Теэтет. Как ты это понимаешь?

Чужеземец. Когда кто-либо произносит «человек учится», то не скажешь ли ты, что это – самая маленькая и простая речь?

Теэтет. Да.

Чужеземец. Ведь в этом случае он сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем и не только произносит наименования, но и достигает, чего-то,

сплетая глаголы с именами. Поэтому-то мы сказали о нем, что он ведет речь, а не просто называет, и такому сочетанию дали имя речи.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Подобно тому как некоторые вещи совмещаются одна с другой, другие же нет, так же и обозначения с помощью голоса: одни не сочетаются, другие же, взаимно сочетаясь, образуют речь.

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Теперь еще вот какая малость.

Теэтет. Какая же?

Чужеземец. Речь, когда она есть, необходимо должна быть речью о чем-либо: ведь речь ни о чем невозможна.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Не должна ли она иметь и какое-то качество?

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Обратим-ка теперь внимание на нас самих.

Теэтет. Действительно, это следует сделать.

Чужеземец. Я тебе произнесу речь, соединив предмет с действием через посредство имени и глагола; ты же скажи мне, о чем будет речь.

Теэтет. Так и будет, по мере возможности.

Чужеземец. «Теэтет сидит». Эта речь, конечно, не длинная?

Теэтет. Нет, напротив, в меру.

Чужеземец. Твое дело теперь сказать, о ком она и к кому относится.

Теэтет. Очевидно, что обо мне и ко мне.

Чужеземец. А как вот эта?

Теэтет. Какая?

Чужеземец. «Теэтет, с которым я теперь беседую, летит».

Теэтет. И относительно этой речи едва ли кто скажет иначе: она обо мне и касается меня.

Чужеземец. Мы утверждаем, что всякая речь необходимо должна быть какого-то качества.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Какого же качества должно теперь считать каждую из этих двух?

Теэтет. Одну истинной, другую ложной.

Чужеземец. Из них истинная высказывает о тебе существующее, как оно есть.

Теэтет. Конечно.

Чужеземец. Ложная же – нечто другое, чем существующее.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Она говорит поэтому о несуществующем, как о существующем.

Теэтет. Похоже, что так.

Чужеземец. По крайней мере, о существующем, отличном от существующего, которое должно быть высказано о тебе. Ведь мы утверждали, что в отношении к каждому многое существует, а многое и нет.

Теэтет. Именно так.

Чужеземец. Вторая речь, которую я о тебе произнес, прежде всего в силу нашего определения, что такое речь, необходимо должна быть одною из самых коротких.

Теэтет. Мы ведь недавно в этом согласились.

Чужеземец. Затем, речью о чем-либо.

Теэтет. Так.

Чужеземец. Если она не о тебе, то и ни о ком другом.

Теэтет. Как это?

Чужеземец. Ведь, не относясь ни к чему, она и вообще не была бы речью. Мы доказали, что невозможно, чтобы речью была ни к чему не относящаяся речь.

Теэтет. Вполне справедливо.

Чужеземец. Если, таким образом, о тебе говорится иное как тождественное, несуществующее – как существующее, то совершенно очевидно, что подобное сочетание, возникающее из глаголов и имен, оказывается поистине и на самом деле ложною речью.

Теэтет. Весьма верно.

Чужеземец. Как же теперь? Не ясно ли уже, что мышление, мнение, представление, как истинные, так и ложные, все возникают у нас в душе?

Теэтет. Каким образом?

Чужеземец. Ты это легче увидишь, если сначала узнаешь, что они такое и чем отличаются друг от друга.

Теэтет. Говори, говори.

Чужеземец. Не есть ли мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением?

Теэтет. Вполне так.

Чужеземец. Поток же звуков, идущий из души через уста, назван речью.

Теэтет. Правда.

Чужеземец. И мы знаем, что в речах содержится следующее...

Теэтет. Что же?

Чужеземец. Утверждение и отрицание.

Теэтет. Да, знаем.

Чужеземец. Если это происходит в душе мысленно, молчаливо, то есть ли у тебя другое какое-либо название для этого, кроме мнения?

Теэтет. Да каким же образом?

Чужеземец. Что же, когда подобное состояние возникает у кого-либо не само по себе, но благодаря ощущению, можно ли правильно назвать его иначе, нежели представлением?

Теэтет. Нельзя.

Чужеземец. Таким образом, если речь бывает истинной и ложной и среди этого мышление явилось нам как беседа души с самою собой, мнение же – как завершение мышления, а то, что мы выражаем словом «представляется», как смешение ощущения и мнения, то необходимо, чтобы и из всего этого как родственного речи кое-что также иногда было ложным.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. Замечаешь ли ты теперь, что ложное мнение и речь найдены нами раньше, чем мы предполагали, опасаясь, как бы, исследуя все это, не принятая за дело совершенно невыполнимое?

Теэтет. Замечаю.

Чужеземец. Не будем же падать духом и во всем остальном. Ввиду того что все это теперь стало нам ясным, вспомним о прежних делениях на виды.

Теэтет. О каких?

Чужеземец. Мы различали два вида изобразительного искусства: один творящий образы, другой – призраки.

Теэтет. Да.

Чужеземец. И мы сказали, что недоумеваем, к какому из них двух отнести софиста.

Теэтет. Так это и было.

Чужеземец. И пока мы так недоумевали, раз лился еще больший мрак, как только возникло рассуждение, ставящее все под сомнение, будто нет ни образов, ни отображений, ни призраков и потому никак, никогда и нигде не возникает ничего ложного.

Теэтет. Ты говоришь верно.

Чужеземец. Теперь, когда обнаружилось, что существует ложная речь и ложное мнение, освободилось место для подражаний существующему, а уж из этого возникает искусство обмана.

Теэтет. Пожалуй.

Чужеземец. И действительно, что софист принадлежит к одному из этих двух (искусств), мы уже признали раньше.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Попробуем-ка, снова разделяя надвое находящийся перед нами род, каждый раз держаться в пути правой части, имея в виду то, что относится к софисту, пока мы, пройдя мимо всего общего [между ним и другими видами] и оставив ему его собственную природу, не выставим ее напоказ прежде всего нам самим, а потом и тем, кто от природы близок такому методу исследования.

Теэтет. Правильно.

Чужеземец. Не с того ли мы начали, что различили искусства творческое и приобретающее?

Теэтет. Да.

Чужеземец. И не явился ли нам софист в области охоты, состязания, торговли и некоторых других видов приобретающего искусства?

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Теперь же, когда его захватило подражательное искусство, ясно, что сперва надо расчленить творческое искусство надвое. Ведь подражание есть какое-то творчество; мы, однако, говорим об отображениях, а не о самих вещах. Не так ли?

Теэтет. Несомненно, так.

Чужеземец. Пусть, следовательно, будут прежде всего две части творческого искусства.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. Одна – божественная, другая – человеческая.

Теэтет. Я пока не понял.

Чужеземец. Творческое искусство, говорили мы, если вспомнить сказанное вначале – есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было.

Теэтет. Да, мы это помним.

Чужеземец. Станем ли мы утверждать относительно всех живых существ и растений, которые произрастают на земле из семян и корней, а также относительно неодушевленных тел, пребывающих в земле в текучем и нетекучем виде, станем ли мы утверждать, говорю я, что все это, ранее не существовавшее, возникает затем благодаря созидательной деятельности кого-либо иного – не бога? Или же будем говорить, руководствуясь убеждением и словами большинства...

Теэтет. Какими?

Чужеземец. Что все это природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины, производящей без участия разума. Или, может быть, мы признаем, что причина эта одарена разумом и божественным знанием, исходящим от бога?

Теэтет. Я, быть может, по молодости часто меняю одно мнение на другое. Однако теперь, глядя на тебя и понимая, что ты считаешь, что все это произошло от бога, я и сам так думаю.

Чужеземец. Прекрасно, Теэтет! И если бы мы полагали, что в будущем ты окажешься в числе мыслящих иначе, то постарались бы теперь с помощью непреложно убедительной речи заставить тебя с нами согласиться. Но так как я знаю твою природу, знаю, что и без наших слов она сама собою обратится к тому, к чему, как ты утверждаешь, ее ныне влечет, то я оставляю это: ведь мы напрасно потеряли бы время. Лучше я выставлю положение, что то, что приписывают природе, творится божественным искусством, то же, что создается людьми, человеческим

и, согласно этому положению, существует два рода творчества: один – человеческий, другой – божественный.

Теэтет. Верно.

Чужеземец. Расчлени-ка, однако, каждый из них двух снова надвое.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Подобно тому как ты все творческое искусство делил в ширину, подели его теперь, напротив, в длину.

Теэтет. Пусть будет разделено.

Чужеземец. Таким образом, в целом возникают четыре части: две, относящиеся к нам, человеческие, и две к богам – божественные.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Теперь они снова разделены, уже иначе: одна часть в каждом отделе собственно творческая, обе же остальные могут быть лучше всего названы изобразительными. И в силу этого творческое искусство снова делится на две части.

Теэтет. Скажи, как теперь образуются каждая из них?

Чужеземец. Мы знаем, что и мы, и другие живые существа, и то, из чего произошло все природное, – огонь, вода и им родственное – суть произведения бога, каждое из которых им создано. Или как?

Теэтет. Так.

Чужеземец. Каждое из них сопровождают отображения, а вовсе не сами вещи, тоже произведенные божественным искусством.

Теэтет. Какие?

Чужеземец. А [образы] во сне и все те [образы], которые днем называются естественными призраками: тени, когда с огнем смешивается тьма, затем двойные отображения, когда собственный свет [предмета] и чужой сливаются воедино на блестящих и гладких предметах и порождают отображение, которое производит ощущение, противоречащее прежней привычной видимости.

Теэтет. Следовательно, здесь два произведения божественного творчества: сама вещь и образ, ее сопровождающий.

Чужеземец. Но что же с нашим искусством? Не скажем ли мы, что оно с помощью строительского мастерства воздвигает дом, а с помощью живописи нечто другое, создаваемое подобно человеческому сну для бодрствующих?

Теэтет. Конечно, так.

Чужеземец. Так же обстоит и с остальным: соответственно двум частям двойки и произведения нашего творчества: с одной стороны, говорим мы, имеется сам предмет, а с другой – его изображение.

Теэтет. Теперь я понял значительно лучше и допускаю два вида творческого искусства, расчленивших в свою очередь надвое: согласно одному делению, это человеческое и божественное искусства, согласно же другому, произведения каждого из них состоят, с одной стороны, из самих предметов, а с другой – из некоторых подобий последних.

Чужеземец. Вспомним-ка теперь, что один [вид] изобразительного искусства должен быть творящим образы, а другой – призраки, если ложь действительно есть ложь и представляет собой нечто принадлежащее по своей природе к существующему.

Теэтет. Да, так было.

Чужеземец. Не явилась ли она именно таковой? И в силу этого не будем ли мы, отбросив сомнения, считать ее теперь двух видов?

Теэтет. Да, будем.

Чужеземец. Разделим-ка искусство, творящее призраки, снова надвое.

Теэтет. Как?

Чужеземец. Одно – это то, которое выполняется посредством орудий, в другом тот, кто творит призраки, сам делает себя орудием этого.

Теэтет. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Я подразумеваю, когда кто-либо своим телом старается явить сходство с твоим обликом или своим голосом – сходство с твоим, то этот [вид] призрачного искусства обычно называется подражанием.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Называя этот [вид] подражающим, выделим его. Все остальное оставим без внимания, так как мы устали, и предоставим другому свести это воедино и дать этому какое-то подобающее название.

Теэтет. Пусть одно будет выделено, а то пере дано другому.

Чужеземец. Однако, Теэтет, и первое надо считать двояким. Реши, почему?

Теэтет. Говори ты.

Чужеземец. Из лиц подражающих одни делают это, зная, чему они подражают, другие же – не зная. А какое различие признаем мы более важным, чем различие между знанием и незнанием?

Теэтет. Никакое.

Чужеземец. Подражание, недавно указанное, было, таким образом, подражанием знающих. Ведь только тот, кто знает твой облик и тебя, мог бы подражать всему этому.

Теэтет. Как же иначе?

Чужеземец. А что же с обликом справедливости и вообще всей в целом добродетели? Не примутся ли многие, не зная ее, но имея о ней какое-то мнение, усердно стараться, чтобы проявилось то, что они принимают за живущую в них добродетель, и не станут ли, насколько возможно, на деле и на словах ей подражать?

Теэтет. И очень даже многие.

Чужеземец. Но не потерпят ли они все неудачу в этом стремлении казаться справедливыми, не будучи вовсе такими? Или как раз напротив?

Теэтет. Как раз напротив.

Чужеземец. Такого подражателя – незнающего, думаю я, надо считать отличным от того – от знающего.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Откуда же, однако, возьмет кто-либо подобающее название для каждого из них? Ведь очевидно, что это трудно и разделение родов на виды в старину представлялось праздным и неразумным, устаревшим занятием, так что никто никогда и не брался делить. Поэтому и нужда в именах была не очень настоящей. При всем том, если выразиться более смело, мы во имя различия подражание, соединенное с мнением, назовем основанным на мнении, подражание же, соединенное со знанием, научным.

Теэтет. Пусть будет так.

Чужеземец. Теперь надо воспользоваться одним из этих названий. Ведь софист принадлежит не к знающим, а к подражающим.

Теэтет. Да, конечно.

Чужеземец. Рассмотрим-ка подражателя, основывающегося на мнении, как рассматривают изделие из железа, прочно ли оно или содержит в себе какую-то трещину.

Теэтет. Рассмотрим.

Чужеземец. А ведь у него она есть, и очень даже большая. Один из подражателей простоват и думает, будто знает то, что мнит, а облик другого из-за его многословия возбуждает подозрение и опасение, что он не знает того, относительно чего принимает перед другими вид знатока.

Теэтет. Конечно, есть подражатели обоих родов, о которых ты упомянул.

Чужеземец. Поэтому, не сочтем ли мы одного простодушным, а другого лицемерным подражателем?

Теэтет. Это подходит.

Чужеземец. Сочтем ли мы род этого последнего единым или двояким?

Теэтет. Смотри ты сам.

Чужеземец. Смотрю, и мне представляются каких-то два рода: один, я вижу, способен лицемерить всенародно, в длинных речах, произносимых перед толпою, другой же в частной беседе с помощью коротких высказываний заставляя собеседника противоречить самому себе.

Теэтет. Ты совершенно прав.

Чужеземец. Кем же сочтем мы слов обильного? Мужем ли государственным или народным витией?

Теэтет. Народным витией.

Чужеземец. Как же мы назовем другого? Мудрецом или софистом?

Теэтет. Мудрецом его невозможно назвать: ведь мы признали его незнающим. Будучи подражателем мудреца, он, конечно, получит производное от него имя, и я почти уже понял, что он действительно должен называться во всех отношениях подлинным софистом.

[Итог: определение софиста]

Чужеземец. Не свяжем ли мы, однако, как и раньше его имя воедино, сплетая нить в обратном порядке – от конца к началу.

Теэтет. Конечно, сделаем так.

Чужеземец. Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства, творящей призраки и с помощью речей выделяющей в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества: кто сочтет истинного софиста происходящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо.

Теэтет. Сущая правда.

ПОЛИТИК

Сократ, Феодор, Чужеземец,

Сократ-младший

Сократ. Большая благодарность тебе, Феодор, за знакомство с Теэтетом и чужеземцем.

Феодор. Быть может, Сократ, ты скоро будешь мне благодарен втройне, если они возьмутся за политика и философа.

Сократ. Пусть будет так. Но мы скажем, дорогой Феодор, что слышали это от первого мастера в счете и геометрии.

Феодор. Что ты хочешь этим сказать, Сократ?

Сократ. Ты одинаково оценил этих мужей, а между тем по своему достоинству они оказываются дальше один от другого, чем подсчитало ваше искусство.

Феодор. Клянусь нашим богом Аммоном, ты ловко, справедливо и в то же время очень злопамятно указал мне на ошибку в подсчете. Но я тебе отомщу после. Ты же, чужеземец, не сочти за труд доставить нам удовольствие и, выбрав либо политика, либо философа, разбери их нам по порядку.

Чужеземец. Да, так надо поступить, Феодор; мы ведь однажды уже решили не останавливаться до тех пор, пока не придем к концу. Но что же мне делать вот с Теэтетом?

Феодор. А в чем затруднение?

Чужеземец. Разрешим ему отдохнуть, заменив вот этим Сократом – его товарищем по гимнасию? Или ты дашь другой совет?

Феодор. Возьми, как ты сказал, Сократа. Они ведь молоды и им легче переносить любой труд отдыхая.

Сократ. Да ведь оба они, чужеземец, словно состоят со мной в родстве. Об одном из них вы говорите, что он схож со мной лицом, другой носит то же имя, что я, и в одинаковом обращении к нам есть что-то сродное. А ведь родных людей всегда надо стремиться узнать в беседе. С Теэтетом я сам вчера беседовал и сегодня слушал его ответы, Сократа же не слышал совсем. Между тем надо испытать и его. Впрочем, мне он ответит после, сейчас же пусть отвечает тебе.

Чужеземец. Пусть будет так. Сократ, ты слышишь Сократа?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Ты согласен с тем, что он говорит?

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Ну, раз с твоей стороны нет препятствий, не может их быть и с моей. Но после софиста нам необходимо, как кажется, рассмотреть политика. Скажи мне, отнесем ли мы его к знающим людям, или ты считаешь иначе?

Сократ-мл. Нет, именно так.

Чужеземец. Значит, знания нужно различать, как мы делали это в отношении софиста?

Сократ-мл. Хорошо бы.

Чужеземец. Однако это различие, Сократ, надо, думаю я, делать не так.

Сократ-мл. А как же?

Чужеземец. Другим способом.

Сократ-мл. Возможно.

Чужеземец. Каким образом отыскать путь политика? А ведь нужно его отыскать и, отделив его от других путей, отметить знаком единого вида; все другие ответвляющиеся тропки надо обозначить как другой единый вид, с тем чтобы душа наша мыслила знания в качестве двух видов.

Сократ-мл. Думаю, что это твое дело, чужеземец, а не мое.

Чужеземец. Нет, Сократ, надо, чтобы это было и твоим делом, если мы хотим его сделать ясным.

Сократ-мл. Ты прав.

Чужеземец. Итак, арифметика и некоторые другие сродные ей искусства чужды дел и дают только чистые знания?

Сократ-мл. Да, это так.

Чужеземец. А строительные искусства и все вообще ремесла обладают знанием, как бы вросшим в дела, и, таким образом, они создают предметы, которых раньше не существовало.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Значит, разделим все знания надвое и один [вид] назовем практическим, а другой – познавательным.

Сократ-мл. Пусть это будут у тебя как бы два вида одного цельного знания.

Чужеземец. Так что же: политика, царя, господина и даже домоправителя – всех вместе – сочтем мы чем-то единым или мы скажем, что здесь столько искусств, сколько названо имен? А еще лучше, следуй за мной вот каким путем.

Сократ-мл. Каким?

Чужеземец. Например, если бы какой-нибудь частный врач мог подавать советы врачу общественному, разве не было бы необходимо назвать его искусство таким же именем, какое носит тот, кто принимает его совет?

Сократ-мл. Да, это было бы необходимо.

Чужеземец. Ну, а если кто настолько искусен, чтобы давать советы царю страны, хотя он лишь частное лицо, разве не скажем мы, что он обладает тем знанием, которое надлежало бы иметь правителю?

Сократ-мл. Скажем.

Чужеземец. Но ведь искусство править – это искусство подлинного царя?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. И тот, кто его получил в удел, будь то царь или простой человек, во всех отношениях правильно должен быть назван по имени этого искусства царственным мужем?

Сократ-мл. Это справедливо.

Чужеземец. То же самое относится к домоправителю и к господину.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Что же? Большое домохозяйство или забота о малом городе – в чем здесь разница для управления?

Сократ-мл. Ни в чем.

Чужеземец. Значит, для всего, что мы сейчас рассматриваем, по-видимому, есть единое знание: назовут ли его искусством царствовать, государственным искусством или искусством домоправления – нам нет никакой разницы.

Сократ-мл. Конечно!

Чужеземец. Однако ясно одно: один царь не найдет в своих руках и даже во всем своем теле столько силы и понимания для управления, сколько в душе.

Сократ-мл. Это ясно.

Чужеземец. Итак, мы скажем, что царю больше подобает познавательное, чем ремесленное и вообще всякое другое практическое искусство?

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Ну, а государственное искусство и все, что относится к государству, а также искусство править и все связанное с правлением будем ли мы считать чем-то единым и тождественным?

Сократ-мл. Очевидно, да.

Чужеземец. Не двинуться ли нам вперед, по порядку, и не разделить ли затем познавательное искусство?

Сократ-мл. Конечно, так нужно сделать.

Чужеземец. Будь же внимателен: какое мы усмотрим в нем разделение?

Сократ-мл. Скажи ты, какое?

Чужеземец. Вот какое. Существует ли у нас счетное искусство?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Оно, я думаю, несомненно относится к познавательным искусствам.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Но коль скоро оно познало различие в числах, мы ведь не припишем ему большей роли, чем роль судьбы того, что познано?

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Ведь и любой зодчий не сам работает, а только управляет работающими.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. И вносит он в это знание, а не ремесло.

Сократ-мл. Это так.

Чужеземец. Поэтому справедливо было бы сказать, что он причастен познавательному искусству.

Сократ-мл. Бесспорно.

Чужеземец. Но только, я думаю, после того, как он вынесет суждение, это еще не конец, и он не может на этом остановиться подобно мастеру счетного искусства: он должен еще отдавать приказания – какие следует – каждому из работающих, пока они не выполнят то, что наказано.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Значит, хотя все такие искусства – связанные с искусством счета – познавательные, однако один их род отличает суждение, а другой – приказ?

Сократ-мл. По-видимому.

Чужеземец. Итак, если мы скажем, что все познавательное искусство разделяется на повелевающую часть и часть, выносящую суждение, ладно ли мы разделим?

Сократ-мл. По моему мнению, да.

Чужеземец. Но ведь тем, кто делает что-то сообща, приятно и мыслить согласно?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Вот и мы до сих пор согласно общались; а чужие предрассудки надо оставить в покое.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Так скажи же, из этих двух искусств куда отнесем мы искусство царствовать? Будет ли оно заключаться в искусстве суждения и царь будет выступать в качестве зрителя, или же мы отнесем царя к области повелевающей, как владыку?

Сократ-мл. Лучше, пожалуй, последнее.

Чужеземец. И опять же, надо рассмотреть искусство повелевать – не делится ли и оно каким-то образом? Мне кажется, что как искусство крупных торговцев отличается от искусства мелких, так же далеко и род царского искусства отстоит от рода глашатаев.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Мелкие торговцы, купив сначала чужие товары, перепродают их другим.

Сократ-мл. Да, это верно.

Чужеземец. Так и сословие вестников, получив сначала чужие мысли, потом передает и предписывает их другим.

Сократ-мл. Сушая правда.

Чужеземец. Что же? Смешаем ли мы воедино искусство царя и искусство глашатая, искусство приказывать и искусство прорицать и многие другие искусства, имеющие общее свойство – повелевать? Или, если хочешь, подобно тому как мы сейчас сравнивали искусства, сравним и их имена: ведь самоповелевающий род пока безымянен, и мы таким образом отделим одно от другого, поместив род царей в область самоповелевающего искусства, всеми же остальными родами пренебрежем и предоставим кому угодно придумывать им имена: в самом деле, наше исследование было предпринято ради правителя, а не ради того, что ему противоположно.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Но раз этот род достаточно отличен от тех и то, что ему присуще, отделено от того, что ему чуждо, не нужно ли снова произвести деление, если окажется, что этот род его допускает?

Сократ-мл. Конечно, нужно.

Чужеземец. А оказывается, что это так. Следуй же за мной и дели.

Сократ-мл. Как именно?

Чужеземец. Не сочтем ли мы, что все правители, имеющие в распоряжении возможность повелевать, повелевают ради какого-то возникновения?

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. А ведь совсем нетрудно все возникающее разделить надвое.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. Одна часть всего возникающего не одушевлена, другая одушевлена.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Вот по этим признакам мы и разделим, если пожелаем делить, повелевающую часть познавательного искусства.

Сократ-мл. В соответствии с чем?

Чужеземец. Мы отнесем одну часть повелевающего искусства к возникновению неодушевленных существ, а другую – к возникновению одушевленных. Таким образом все и разделится на две части.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Оставим же одну из этих частей и возьмем другую, а взяв, снова разделим всё надвое.

Сократ-мл. Но которую из них, по твоим словам, надо взять?

Чужеземец. Конечно ту, что относится к живым существам. Ведь совсем невместно царскому знанию повелевать лишенными души вещами: задача его благороднее, и власть простирается на живых и на то, что им причастно.

Сократ-мл. Это правильно.

Чужеземец. На возникновение и питание живых существ в одних случаях можно смотреть как на кормление в одиночку, в других – как на общую заботу о целых стадах животных.

Сократ-мл. Верно.

Чужеземец. Но политик, как мы увидим, не занимается кормлением в одиночку, как тот, кто ухаживает за волами и конями; он больше напоминает табунщика волов и коней.

Сократ-мл. Теперь мне ясно то, что ты говоришь.

Чужеземец. Не назвать ли нам общее питание всех животных как-то так – «стадным» или «общим» питанием?

Сократ-мл. Здесь подойдет и то и другое.

Чужеземец. Прекрасно, Сократ. Если ты не будешь особенно заботиться о словах, то к старости станешь богаче мнениями. Теперь же сделаем так, как ты советуешь. Но не замечаешь ли ты, что иной, провозгласив искусство стадного питания двойным, заставит нас то, что мы сейчас ищем в двойном, искать в половинках?

Сократ-мл. Хотел бы я это заметить. И мне кажется, что у людей пища одна, а у животных – другая.

Чужеземец. Ты очень смело и усердно произвел разделение. Но по возможности давай избежим этого в другой раз.

Сократ-мл. Чего именно?

Чужеземец. Не следует одну маленькую частичку отделять от многих больших, да притом еще без сведения к виду: часть должна вместе с тем быть и видом. Прекрасно, если можно искомое тотчас же отделить от всего остального, коль скоро это сделано правильно – подобно тому как сейчас, подумав, что здесь необходимо деление, ты подстегнул рассуждение, усмотрев, что оно клонится к людям. Но, милый, дело здесь не в изящных игрушках: это небезопасно, гораздо безопаснее срединный разрез, он скорее приводит к идеям. Это-то и есть главное в исследованиях.

Сократ-мл. Что, чужеземец, ты хочешь этим сказать?

Чужеземец. Я постараюсь сказать яснее, из расположения к тебе, Сократ. На основе того, что было здесь изложено, нельзя достаточно хорошо уяснить себе этот вопрос. Во имя ясности надо попытаться продвинуть его вперед.

Сократ-мл. Как ты назовешь ту ошибку, которую мы сделали только что при делении?

Чужеземец. Она подобна той, которую делают, пытаясь разделить надвое человеческий род и подражая большинству здешних людей, – тем, кто, выделяя из всех народов эллинов, дает остальным племенам – бесчисленным, не смешанным между собой и разноязычным – одну и ту же кличку «варваров», благодаря чему только и считает, что это – единое племя. То же самое, как если бы кто-нибудь вздумал разделить число на два вида и, выделив из всех чисел мириаду, представил бы ее как один вид, а всему остальному дал бы одно имя и считал бы из-за этого прозвища, что это единый вид, отличный от того, первого.

Ведь гораздо лучше и более сообразно с двуделением по видам было бы, если бы разделили число на четное и нечетное, род же человеческий – на мужской и женский пол. А индийцев и фригийцев или какие-то другие народы отделяют от всех остальных тогда, когда не умеют выявить одновременно вид и часть при сечении.

Сократ-мл. Совершенно верно. Но, чужеземец, как же яснее распознать это – вид и часть, если они не одно и то же, но друг от друга отличны?

Чужеземец. О, лучший из юношей! Ты, Сократ, спрашиваешь не даром. Но мы и сейчас уже отклонились сильнее, чем должно, от нашего рассуждения, ты же побуждаешь нас блуждать еще больше. Нет, вернемся – ведь так подобает – назад. А по этому следу пойдем, как ищейки, потом, на досуге. Однако крепко следи, чтобы не подумать, будто ты слышал от меня ясное определение этого...

Сократ-мл. Чего именно?

Чужеземец. Того, что вид и часть друг от друга отличны.

Сократ-мл. Но как же иначе?

Чужеземец. Если существует вид чего-либо, то он же необходимо будет и частью предмета, видом которого он считается. Часть же вовсе не должна быть необходимо видом. Так что лучше приписывать мне всегда это объяснение, а не то.

Сократ-мл. Пусть будет так.

Чужеземец. Скажи мне еще вот что...

Сократ-мл. О чем ты спрашиваешь?

Чужеземец. Откуда мы отклонились, когда подошли сюда? Конечно, думаю я, вот откуда: на вопрос о стадном питании – как его разделить – ты храбро ответил, что существует два рода живых существ: один – человеческий, а другой – все остальные животные.

Сократ-мл. Это правда.

Чужеземец. Мне же тогда показалось, что, отделив одну часть, ты считаешь все остальное единым видом по той единой кличке «животные», которую ты для этой второй части придумал.

Сократ-мл. И это так было.

Чужеземец. Но, храбрый из людей, что если разумным окажется какое-нибудь другое животное, например из вида журавлей, – ведь он таким кажется, – или какого-нибудь другого вида, и оно станет, подобно тебе, придумывать имена, противопоставляя единый род журавлей всем остальным животным и прославляя себя самого, прочих же, объединив их между собой, а также с людьми, не найдет ничего лучшего, как назвать животными? Постараемся же всячески этого избежать.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. Не будем делить весь род живых существ, чтобы не допустить подобной ошибки.

Сократ-мл. Да, не нужно этого делать.

Чужеземец. Ведь именно в этом и состояла тогда неправильность.

Сократ-мл. Но в чем же?

Чужеземец. Повелевающая часть познавательного искусства относилась у нас к роду питания стадных животных. Не так ли?

Сократ-мл. Так.

Чужеземец. И уже тем самым весь род животных был поделен на ручных и диких. Те из животных, нрав которых поддается приручению, называются домашними, другие же, не поддающиеся, – хищными.

Сократ-мл. Прекрасно.

Чужеземец. Знание, которое мы преследуем, было и есть у домашних животных, значит, надо искать его у животных стадных.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Стало быть, не будем делить их, как тогда, принимая во внимание всех сразу, и не будем спешить немедленно перейти к государственному искусству. Ведь мы теперь испытываем состояние в точности по пословице...

Сократ-мл. Какое состояние?

Чужеземец. Поспешив с делением домашних животных, мы завершили деление медленнее.

Сократ-мл. И хорошо, чужеземец, что мы это испытываем.

Чужеземец. Пусть будет так. Давай попробуем сызнова разделить искусство общего питания: быть может, то, к чему ты стремишься, лучше покажет тебе само завершенное рассуждение. Но скажи мне...

Сократ-мл. Что же?

Чужеземец. А вот: может быть, ты нередко слышал от кого-нибудь – ведь самому тебе это не случалось видеть – о тайных заповедниках в Ниле и на царских озерах? А в ручьях ты, верно, и сам их видел.

Сократ-мл. Конечно, и эти я видел, и о тех от многих слышал.

Чужеземец. И о гусиных и журавлиных хозяйствах, хоть ты и не бродил по равнинам Фессалии, знаешь понаслышке и веришь, что они есть?

Сократ-мл. Да уж конечно.

Чужеземец. Спросил же я тебя об этом вот ради какой цели: стадное питание ведь бывает и водным, и сухопутным.

Сократ-мл. Да, конечно.

Чужеземец. Значит, и ты считаешь, что именно таким образом надо разделить надвое науку об общем питании, уделив тому и другому свою часть и назвав одну из них питающей на воде, а другую – на суше?

Сократ-мл. Да, по-моему, так.

Чужеземец. И, значит, мы не будем доискиваться, к какому из этих искусств надо отнести занятие царское? Это всякому ясно и так.

Сократ-мл. Конечно, ясно.

Чужеземец. Но сухопутный род стадного питания разделит ведь всякий.

Сократ-мл. Как?

Чужеземец. Размежевав его на летающую и пешую часть.

Сократ-мл. Сушая правда.

Чужеземец. Что же? Не должно ли искать государственное занятие в пешей части? Не считаешь ли ты, что и глупец, как говорится, будет такого же мнения?

Сократ-мл. Да, это так.

Чужеземец. Ну, а искусство ухода за пешими животными следует ли, как мы недавно сделали это с числом, разделить надвое?

Сократ-мл. Ясно, что следует.

Чужеземец. Впрочем, к той части, на которую направлено наше рассуждение, как кажется, открываются два пути: один – скорейший, отделяющий меньшую часть от большей, второй – производящий срединное сечение, которое, как мы говорили раньше, более предпочтительно; но этот путь длиннее. Мы можем последовать тем путем, каким ты пожелаешь.

Сократ-мл. А обоими путями следовать невозможно?

Чужеземец. Вместе, конечно, нельзя, чудак; поочередно же, ясное дело, можно.

Сократ-мл. Итак, я избираю оба пути – поочередно.

Чужеземец. Это нетрудно: оставшийся путь короток. Вначале и в средних частях путешествия это было бы для нас тяжелой задачей. А сейчас, если тебе угодно, пойдем сперва более длинным путем: ведь со свежими силами мы легче его одолеем. Итак, наблюдай за делением.

Сократ-мл. Говори.

Чужеземец. Пеших домашних животных – тех, что относятся к стадным, – нужно, согласно их природе, разделить надвое.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. По признаку рогов: одна порода их имеет, другая – нет.

Сократ-мл. Это очевидно.

Чужеземец. Разделив искусство питания пеших, примени объяснение для каждой части; ибо если ты вздумаешь их называть, у тебя будет забот больше, чем нужно.

Сократ-мл. Так как же следует говорить?

Чужеземец. А вот как: когда искусство питания пеших разделится надвое, одна частица будет отнесена к рогатой половине стада, а другая – к безрогой.

Сократ-мл. Пусть будет так, согласно сказанному: ведь это во всех отношениях ясно.

Чужеземец. Что же касается царя, это также ясно: он будет пасти безрогое стадо.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Разбивая теперь это стадо на части, постараемся приписать ему то, что ему присуще.

Сократ-мл. Хорошо.

Чужеземец. Желает ли ты разделить его по признаку раздвоенных и так называемых цельных копыт или же по скрещенным и нескрещенным породам? Тебе ведь это понятно?

Сократ-мл. Что именно?

Чужеземец. А то, что лошади и ослы могут рождаться друг от друга.

Сократ-мл. Я понимаю.

Чужеземец. А остальная часть домашнего стада не смешивает своих пород.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Что же? Наш политик печется, по-твоему, о скрещенной или о нескрещенной породе?

Сократ-мл. Ясно, что о несмешанной.

Чужеземец. Надо же и ее, по-видимому, как мы делали раньше, разделить надвое.

Сократ-мл. Да, надо.

Чужеземец. Ну вот, все живое, сколько только есть домашних и стадных животных, уже разделено, за исключением двух родов. Ведь род собак не стоит причислять к стадным животным.

Сократ-мл. Нет, конечно. Но каким образом разделить нам эти два рода?

Чужеземец. А таким, как пристало делить тебе и Теэтету, коль скоро вы занимаетесь геометрией.

Сократ-мл. Каким же именно?

Чужеземец. В соответствии с диагональю и потом – с диагональю диагонали.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Разве природа, которую получил в удел наш человеческий род, стоит в ином отношении к ходьбе, чем диагональ, равная квадратному корню из двух [к сторонам своего квадрата]?

Сократ-мл. Нет, не в ином.

Чужеземец. Между тем природа всего остального рода по своему свойству есть не что иное, как диагональ нового квадрата, построенного на стороне в два фута.

Сократ-мл. Как же иначе? Я почти понимаю, что ты хочешь сказать.

Чужеземец. Впрочем, не усмотрим ли мы и чего-то очень смешного, случившегося с нами при этом делении, – словно мы заправские шуты?

Сократ-мл. Что же это?

Чужеземец. Да наш человеческий род получил равный удел и шагает в ногу с родом из всех существующих самым благородным и в то же время наилегчайшим.

Сократ-мл. Да, я вижу и нахожу это очень странным.

Чужеземец. Что же? Не естественно ли, что самое медленное приходит позднее всех?

Сократ-мл. Да уж конечно.

Чужеземец. А не придет ли нам на ум, что еще смешнее покажется царь, бегущий голова в голову со стадом и выступающий рядом с мужем, наилучшим образом подготовленным для жизни без затруднений?

Сократ-мл. Несомненно, придет.

Чужеземец. Теперь, Сократ, особенно ясным становится то, что было сказано раньше, при исследовании софиста.

Сократ-мл. Что именно?

Чужеземец. А вот что: при таком пути рассмотрения не больше бывает заботы о возвышенном, чем об обычном, и меньшее не презирается в угоду большему, но путь этот сам по себе ведет к наивысшей истине.

Сократ-мл. Похоже, что это так.

Чужеземец. А теперь, чтобы ты не опередил меня вопросом о кратчайшем пути к определению царя, не опередить ли мне тебя самому?

Сократ-мл. Непременно.

Чужеземец. Тогда, говорю я, надо сразу же в нашем роде отделить двуногих от четвероногих и, приняв во внимание, что роду человеческому выпал тот же жребий, что и пернатый, снова разделить двуногое стадо на гладкое и пернатое; когда же оно будет поделено и обнаружится искусство пасти людей, надо взять политика и царя и, поставив его во главе как возничего, вверить ему бразды правления государством: ведь именно в этом состоит присущая ему наука.

Сократ-мл. Ты прекрасно и как должно представил мне счет да еще как бы добавил к счету проценты, увеличив тем самым оплату.

Чужеземец. Ну что ж, давай просмотрим снова, с начала до конца, объяснение наименования искусства политика.

Сократ-мл. Отлично.

Чужеземец. Вначале мы установили повелевающую часть познавательного искусства. В качестве уподобления ей мы назвали самоповелевающую часть. От этой части мы отделили немаловажный род – искусство питания животных, от него, в свой черед, вид стадного питания, а от этого последнего – питание сухопутное. От питания сухопутных мы отделили как преимущественное искусство питания безрогих животных, а уж если кто желает отделить от него следующую часть, он должен по меньшей мере представить ее тройкой, если хочет дать ей единое имя и назвать ее искусством пасти несмешанное стадо. Следующим сечением будет отделение от двуногого стада людей и искусства их пестовать, а это уже – искомое нами искусство царствовать, или, что-то же самое, государственное искусство.

Сократ-мл. Все это, безусловно, верно.

Чужеземец. Но, Сократ, так ли хорошо мы все это выполнили, как следует из твоих слов?

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Полностью ли, достаточно ли осветили мы наш предмет? Или нашему исследованию как раз более всего не хватает завершеного объяснения, хотя какое-то объяснение мы и дали?

Сократ-мл. Скажи яснее.

Чужеземец. Я именно и собираюсь сейчас получше разъяснить для нас обоих то, что я думаю.

Сократ-мл. Говори же.

Чужеземец. Не правда ли, одним из многих искусств пестования, сейчас перед нами явившихся, было государственное искусство, состоящее в попечении о некоем одном стаде?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. И это, согласно нашему определению, являет собой пестование не лошадей либо каких-то других животных, но людей и заключается в общем их воспитании.

Сократ-мл. Это так.

Чужеземец. Давай же посмотрим, какое различие существует между всеми прочими пастухами, с одной стороны, и царями – с другой.

Сократ-мл. Какое же?

Чужеземец. Не получилось бы, что кто-нибудь – представитель совсем иного искусства – вдруг назовет себя также воспитателем стада и станет играть эту роль.

Сократ-мл. Разве это возможно?

Чужеземец. Например, что если разные торговцы, землепашцы, булочники, а вслед за ними учителя гимнастики и врачи всячески станут оспаривать у пастухов человеческого стада, которых мы называли политиками, право называться руководителями воспитания не только всего человеческого стада, но и его начальников?

Сократ-мл. Это было бы с их стороны неправильным.

Чужеземец. Возможно. Сейчас мы посмотрим. Ведь мы знаем, что с волопасом никто не станет вступать в спор об уходе за волами, но он сам – и воспитатель стада, и его врач, и как бы сват, и единственный знаток искусства получать приплод. Даже если речь идет об играх и способности воспринимать музыку – насколько животные могут это по своей природе, – никто другой не умеет так хорошо владеть звуками инструментов и голоса, которыми он ободряет и успокаивает стадо. И о прочих пастухах можно сказать то же самое. Разве не так?

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Как же может показаться нам правильным и безупречным рассуждение о царе, когда мы одного его считаем пастухом и воспитателем человеческого стада и забываем о тысячах других, оспаривающих это звание?

Сократ-мл. Да, наше рассуждение вовсе не безупречно.

Чужеземец. Так разве неправильным было наше прежнее опасение, когда мы заподозрили, что, называя лишь некоторые черты царя, мы не дадим безупречного в своем совершенстве образа политика, пока не перечислим всех тех, кто вокруг него толпится и оспаривает у него звание пастуха, и, отделив от них этот образ, не представим лишь его в чистом виде?

Сократ-мл. Сущяя правда.

Чужеземец. Итак, Сократ, мы должны это сделать, если не хотим под конец устыдиться нашего рассуждения.

Сократ-мл. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить.

Чужеземец. Значит, нам снова надо вернуться назад и начать все сначала, идя по иному пути.

Сократ-мл. Но какой это путь?

Чужеземец. Пожалуй, такой, который мы переплетем с шуткой: мы должны воспользоваться изрядной толикой большого мифа, а что до остального, то мы будем последовательно отделять часть за частью, как мы это делали раньше, пока не подойдем к самой сути искомого. Должны ли мы так поступить?

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Ну, так слушай внимательно мой миф, как слушают дети. Впрочем, ты ведь не так давно оставил пору забав.

Сократ-мл. Говори же.

Чужеземец. Итак, много существовало и еще будет существовать древних сказаний и среди них сказание об Атрее и Фиесте и их раздоре. Ты, конечно, слышал его и припоминаешь события, о которых там повествуется?

Сократ-мл. Ты, верно, говоришь о знаменнии золотого овна?

Чужеземец. Нет, совсем не об этом, а об изменении заката и восхода Солнца и других звезд: ведь там, где теперь Солнце восходит, в те времена был закат, и, наоборот, там, где теперь закат, тогда был восход. Но бог явил тогда Атрею знамение и обратил все это вспять, к нынешнему порядку.

Сократ-мл. И об этом рассказывают.

Чужеземец. Да и о царстве Кроноса мы слышали от многих.

Сократ-мл. Конечно, от очень многих.

Чужеземец. А как насчет того, что вначале люди бы ли порождены землей, а вовсе не другими людьми?

Сократ-мл. Это сказание тоже принадлежит к древнейшим.

Чужеземец. Все это и, кроме того, тысячи еще более удивительных вещей – плод одного и того же события, но со временем многое из этого стерлось в памяти, другое же рассеялось и рассказывают о каждом из этих событий отдельно. А что лежало в основе всего этого – об этом не говорит никто, мы же теперь должны сказать: кстати ведь подойдет эта речь к объяснению того, что такое царь.

Сократ-мл. Ты прекрасно молвил; не упусти же ничего, прошу тебя.

Чужеземец. Итак, слушай. Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу – когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени; потом это движение самопроизвольно обращается вспять, так как Вселенная – это живое существо, обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил, и эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости по следующей причине...

Сократ-мл. По какой же именно?

Чужеземец. Оставаться вечно неизменными и тождественными самим себе подобает лишь божественнейшим существам, природа же тела устроена иначе. То, что мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых свойств, но в то же время оно оказалось причастным телу: поэтому оно не могло не получить в удел перемен. Все ж, сколько можно, космос движется единообразно, в одном и том же месте, и обратное вращение он получил как самое малое отклонение от присущего ему самостоятельного движения. Вечно приводить в движение самого себя не дано почти никому, кроме того, кто руководит движением всех вещей: а ему не подобает вызывать движение то в одну, то в другую сторону. В соответствии со всем этим о космосе нельзя сказать ни что он вечно движет самого себя, ни что ему полностью и всегда сообщает двоякое, противоположное, вращение бог, ни что два разных божества вращают его в противоположные стороны, согласно различным замыслам, но остается единственное, что было нами недавно сказано: космос движется благодаря иной, божественной, причине, причем заново воспроизводится и расширяется жизнь и он воспринимает уготованное ему творцом бессмертие; когда ему дается свобода, космос движется сам собой, предоставленный себе самому на такой срок, чтобы проделать в обратном направлении много тысяч круговоротов, – благодаря тому, что он, самый большой и лучше всего уравновешенный, движется на крошечной ступне.

Сократ-мл. Все, что ты изложил, выглядит очень правдоподобно.

Чужеземец. Давай же рассудим и пойдем на основании того, что сейчас было сказано, причину всего чудесного, которую мы допустили. Причина же эта следующая...

Сократ-мл. Какая?

Чужеземец. А такая, что вращательное движение Вселенной направлено то в одну сторону, то в другую.

Сократ-мл. Каким же образом?

Чужеземец. Этот вид изменения должно считать самым значительным и совершенным из всех перемен, происходящих в небе.

Сократ-мл. Это возможно.

Чужеземец. Поэтому надо считать, что величайшие перемены происходят и с нами, живущими в пределах этого неба.

Сократ-мл. И это правдоподобно.

Чужеземец. А разве мы не знаем, что живые существа тягостно переносят большие, обильные и разнообразные изменения?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. На всех животных тогда нападает великий мор, да и из людей остаются в живых немногие. И на их долю выпадает множество удивительных и необычных переживаний, но величайшее из них то, которое сопутствует вихрю Вселенной, когда ее движение обращается вспять.

Сократ-мл. А в чем это переживание состоит?

Чужеземец. Возраст живых существ, в каком каждое из них тогда находилось, сначала таким и остался, и все, что было тогда смертного, перестало стареть и выглядеть старше; наоборот, движение началось в противоположную сторону и все стали моложе и нежнее: седые

власы старцев почернели, щеки бородатых мужей заново обрели гладкость, возвращая каждого из них к бывшей цветущей поре; разгладились также и тела возмужалых юнцов, с каждым днем и каждой ночью становясь меньше, пока они вновь не приняли природу новорожденных младенцев и не уподобились им как душой, так и телом. Продолжая после этого чахнуть, они в конце концов уничтожились совершенно. Даже трупы погибших в то время насильственной смертью были подвержены таким состояниям и быстро и незаметно исчезли в течение нескольких дней.

Сократ-мл. Но как же происходило тогда, чужеземец, возникновение новых существ? И как рождались они друг от друга?

Чужеземец. Ясно, Сократ, что в тогдашней природе не существовало рождения живых от живых; уделом тогдашнего поколения было снова рождаться из земли, как и встарь люди были земнорожденными. Воспоминание же об этом сохранили наши ранние предки, время которых соприкоснулось со временем, последовавшим за окончанием первой перемены круговращения: они родились в начале нынешнего круговорота. Именно они стали для нас глашатаями, возвестившими те сказания, в которых многие теперь несправедливо сомневаются. Мы же должны основываться на них. Ведь из того, что старческая природа переходит в природу младенческую, следует, что и мертвые, лежащие в земле, снова восстанут из нее и оживут, следуя перемене пошедшего вспять рождения и возникая по необходимости как землерожденное племя – в соответствии со сказанным: отсюда их имя и объяснение их [рождения] – разве что только бог определил некоторым из них иной жребий.

Сократ-мл. Да, это непременно вытекает из сказанного раньше. Но жизнь, о которой ты говорил, что она протекала под властью Кроноса – совпадала ли она с теми, прежними, круговоротами или с нынешним? Ведь ясно, что перемена в движении Солнца и звезд совпадает с первыми круговращениями.

Чужеземец. Ты хорошо следил за моим рассуждением. А то, что ты спросил – о самопроизвольном возникновении человеческой природы, – так это относится вовсе не к нынешнему движению [Вселенной], но к тому, что происходило раньше. Тогда, вначале, самим круговращением целиком и полностью ведал [верховный] бог, но местами, как и теперь, части космоса были поделены между правящими богами. Да и живые существа были поделены между собой по родам и стадам божественными пастухами – гениями; при этом каждый из них владел той группой, к которой он был приставлен, спасая членов ее от дикости и от взаимного пожирания; не было среди них также ни войн, ни раздоров, зато можно назвать тысячи хороших вещей, сопутствовавших такому устройству. А то, что было сказано об их жизни, согласной с природой, имеет вот какую причину. Бог сам пестовал их и ими руководил, подобно тому как сейчас люди, будучи существами более прочих причастными божественному началу, пасут другие, низшие, породы. Под управлением бога не существовало государств; не было также в собственности женщин и детей: ведь все эти люди появлялись прямо из земли, лишённые памяти о прошлых поколениях. Такого рода вещи для них не существовали; зато они в изобилии получали плоды фруктовых и любых других деревьев, произраставших не от руки земледельца, но как добровольный дар земли. Голые и неприкрытые бродили они большей частью под открытым небом. Ведь погода была уютована им беспечальная и ложе их было мягко благодаря траве, обильно произрастающей из земли.

Итак, ты слышал, Сократ, какая была жизнь у людей при Кроносе; что до теперешней жизни – жизни при Зевсе, как это зовут – ты сам, живя сейчас, ее знаешь. Сможешь ли ты и пожелаешь ли определить, какая из них счастливее?

Сократ-мл. Нет, нет.

Чужеземец. Так не хочешь ли, чтобы я некоторым образом их сравнил?

Сократ-мл. Да, конечно, очень хочу.

Чужеземец. Итак, если питомцы Кроноса, располагая обширным досугом и возможностью словесно общаться не только с людьми, но и с животными, пользовались всем этим для

того, чтобы философствовать, если они, беседуя со зверьми и друг с другом, допытывались у всей природы, не нашла ли она, с помощью некоей особой способности, что-либо неведомое другим для кладовой разума, – легко судить, что тогдашние люди были бесконечно счастливее нынешних. Вдосталь насытившись яствами и питьем, они передавали друг другу, а также зверям сказания – те, что и ныне о них повествуются: и тут – по крайней мере таково мое мнение – нетрудно о них судить.

Впрочем, оставим это, пока не явится сведущий вестник и не объявит нам, была ли у тогдашних людей жажда познания и владения словом. Однако ради чего разбудили мы спящий миф, это надо бы сказать, чтобы затем устремиться вперед. Когда всему этому исполнился срок и должна была наступить перемена, и все земнорожденное племя потерпело уничтожение, после того, как каждая душа проделала все назначенные ей порождения и все они семенами упали на землю, кормчий Вселенной, словно бы отпустив кормило, отошел на свой наблюдательный пост, космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вождения. Все местные боги, соправители могущественнейшего божества, прознав о случившемся, лишили части космоса своего попечения. Космос же, повернувшийся вспять, влекомый противоположным стремлением начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясение прекратились и наступило затишье, космос взял свой обычный разбег, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собою; при этом он по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца.

Вначале он соблюдал их строже, позднее же – все небрежнее. Причиной тому была телесность смешения, издревле присущая ему от природы, ибо, прежде чем прийти к нынешнему порядку, он был причастен великой неразберихе.

От своего устроителя он получил в удел все прекрасное; что касается его прежнего состояния, то, сколько ни было в небе тягостного и несправедливого, все это он и в себя вобрал, и уделил живым существам. Питая эти существа вместе с Кормчим, он вносил в них немного дурного и много добра.

Когда же космос отделился от Кормчего, то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно; по истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка, так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, и, вбирая в себя смесь противоположных [свойств], он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Потому-то устроявшее его божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по-прежнему свойственному ему круговороту: он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим.

Это и есть завершение мифа. Что же касается изображения царя, то сказанного вполне достаточно для тех, кто сумеет поставить это в связь с предшествовавшим рассуждением. Ибо, когда космос опять стал вращаться в направлении нынешних порождений, порядок возрастов снова прервался и заново стал противоположным тогдашнему. Живые существа, по своей малости едва-едва не исчезнувшие, стали расти, а тела, заново порожденные землею в старческом возрасте, вновь умирали и сходили в землю. И остальное все претерпело изменение, подражая и следуя состоянию целого: это подражание необходимо было во всем – в плодоношении, в порождении и в питании, ибо теперь уже недозволено было, чтобы живое существо зарождалось в земле из частей другого рода, но подобно космосу, которому устроитель повелел быть в своем развитии самодовлеющим, так и частям его той же властью было приказано насколько возможно самостоятельно зачинать, порождать и питать потомство. Таким образом, к чему было направлено все наше рассуждение, к этому мы и пришли. Говорить о прочих

животных – какое из них по каким причинам подверглось превращению, – было бы слишком длинно и заняло бы много времени; что же касается людей, то это будет короче и ближе к делу.

Итак, когда принявший нас в свои руки и пестовавший нас гений прекратил свои заботы, многие животные, по природе своей свирепые, одичали и стали хватать людей, сделавшихся слабыми и беспомощными; вдобавок первое время они не владели еще искусствами, естественного питания уже не хватало, а добыть они его не умели, ибо раньше их к этому не побуждала необходимость. Все это ввергло их в великое затруднение. Потому-то, согласно древнему преданию, от богов нам были дарованы, вместе с необходимыми поучениями и наставлениями, огонь – Прометеем, искусства – Гефестом и его помощницей по ремеслу, семена и растения – другими богами. И все, что устроит и упорядочивает человеческую жизнь, родилось из этого: ибо, когда прекратилась, как было сказано, забота богов о людях, им пришлось самим думать о своем образе жизни и заботиться о себе подобно целому космосу, подражая и следуя которому мы постоянно – в одно время так, а в другое иначе – живем и взращиваемся.

Пусть же здесь будет конец сказанию. Воспользуемся им для того, чтобы понять, как сильно мы ошибались, говоря в предшествовавшем рассуждении о царе и политике.

Сократ-мл. Какая же и сколь великая, по твоим словам, возникла у нас ошибка?

Чужеземец. С одной стороны, она меньше, с другой же – весомее и обширнее, чем казалась тогда.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. Отвечая на вопрос о царе и политике, существующем при нынешнем круговращении и порождении, мы описали пастуха человеческого стада при круговращении противоположном и, таким образом, назвали вместо смертного – бога: это очень большая погрешность. А объявив его правителем всего государства, но не разобрав, как он правит, мы, с одной стороны, высказались верно, с другой же – недостаточно полно и ясно: в этом случае и ошибка меньше, чем та.

Сократ-мл. Это правда.

Чужеземец. Итак, надо надеяться, что, определив характер государственного правления, мы наконец сможем сказать, что такое политик.

Сократ-мл. Отлично.

Чужеземец. Вот мы и предпослали этому миф – чтобы показать относительно стадного питания, что не только все оспаривают это занятие у искомого нами сейчас лица, но также что мы должны яснее разглядеть его – того, кому одному только и пристало, по образцу пастухов и волопасов, иметь попечение о питании человеческого стада и носить соответствующее этому имя.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Я даже думаю, Сократ, что этот образ божественного пастыря слишком велик в сравнении с царем, нынешние же политики больше напоминают по своей природе, а также образованию и воспитанию подвластных, чем властителей.

Сократ-мл. Истинно так.

Чужеземец. Но такова ли их природа или иная, от этого не менее и не более должно их рассмотреть.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Пойдем же по прежнему пути. Мы сказали, что существует самоповелевающее искусство, распоряжающееся живыми существами и пекущееся не о частных лицах, а о целом обществе; назвали же мы это тогда искусством стадного питания. Припоминаешь ли ты?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Вот тут-то мы и допустили ошибку. Мы совсем не учли политика и никак его не назвали: он тайно ускользнул от наименования.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. Питать все без исключения стада присуще, видимо, остальным пастухам, политику же несвойственно. А между тем мы приложили это наименование и к политику, хотя следовало бы назвать их всех по общему для них признаку.

Сократ-мл. Ты прав, если такое имя бывает.

Чужеземец. Как же не быть общему уходу за всеми, из которого не исключено питание и любые другие заботы? Назовем ли мы это попечительством, уходом за стадом или еще как-нибудь, например всеобщим попечением, – это имя могло бы охватить и политика, и всех прочих пастухов: ведь надо так сделать – этому учит нас рассуждение.

Сократ-мл. Правильно. Но какое же теперь последует разделение?

Чужеземец. Подобное тому, какое мы проделали, когда обособили стадное питание пеших – бесперых, несмешанных и безрогих – животных; лишь сделав такое различие, мы охватили одним определением уход за стадом в наше время и в царствование Кроноса.

Сократ-мл. Это очевидно. Но снова спрошу: что же потом?

Чужеземец. Ясно, что когда таким образом названо это имя – «уход за стадом», никто не станет нам возражать, говоря, что и вообще-то нет подобного попечения, как прежде справедливо могли возразить, что, мол, у нас не существует никакого искусства питания, достойного называться этим именем, а если бы и было какое-нибудь, то оно скорее подобало бы многим другим, чем кому-нибудь из царей.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Забота же о целом человеческом сообществе и искусство управления всеми людьми в первую очередь и преимущественно принадлежат царю.

Сократ-мл. Ты правильно говоришь.

Чужеземец. Однако, Сократ, замечаешь ли ты, что под самый конец мы снова ошиблись?

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. А вот: хотя мы в высшей степени правильно рассудили, что существует некое искусство питания двуногого стада, не следовало, однако, тотчас же называть это искусство царским и политическим – так, как если бы на этом все и кончалось.

Сократ-мл. Что ты говоришь?!

Чужеземец. Сначала, как мы и говорили, нужно было переделать название, приблизив его больше к уходу, чем к пропитанию, а затем рассечь надвое и его: ведь предстоит произвести еще немало сечений.

Сократ-мл. Каких именно?

Чужеземец. Можно было бы отделить божественного пастыря от попечителя-человека.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Затем, обособив попечительское искусство, следует его снова рассечь надвое.

Сократ-мл. На какие же части?

Чужеземец. На попечение насильственное и мягкое.

Сократ-мл. То есть?

Чужеземец. Раньше мы и тут оказались простоватей, чем должно, и допустили ошибку, соединив в одно царя и тирана – как самих, так и образы их правления, – в то время как они в высшей степени неподобны.

Сократ-мл. Истинно так.

Чужеземец. А теперь, исправляя нашу ошибку, согласно сказанному, не разделим ли мы попечительское искусство надвое – на насильственное и мягкое?

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. И, назвав попечение тех, кто правит с помощью силы, тираническим, а мягкое попечение о стаде двуногих кротких животных – политическим, мы наречем человека, владеющего таким искусством попечительства, подлинным царем и политиком, не так ли?

Сократ-мл. Значит, чужеземец, рассуждение о политике получило у нас таким образом завершение.

Чужеземец. Это было бы для нас прекрасно, Сократ. Однако верным это должно представляться не только тебе, но и мне. На самом же деле мне не кажется, будто образ царя получил у нас завершение: подобно ваятелям, что иногда спешат, не рассчитав времени, и опаздывают из-за того, что добавляют к своим творениям много лишних штрихов, и мы сейчас, спеша выставить напоказ погрешность прежнего нашего рассуждения и решив, что царю подходят великие образцы, подняли тяжелейший пласт мифа и вынуждены были воспользоваться большей, чем требовалось, его частью. Так мы сделали доказательство еще более длинным и уже совсем не смогли придать завершенность мифу; наше рассуждение, словно черновой набросок, приняло чисто внешние очертания, отчетливости же, которую придают краски и смешение оттенков, пока что не получило. Между тем с помощью слова и рассуждения гораздо лучше можно выписать любое изображение, чем с помощью живописи и какого бы то ни было другого ручного труда, – лишь бы уметь это делать. Другим же – тем, кто не умеет, – надо пользоваться работой рук.

Сократ-мл. Правильно! Покажи же, чего не хватает в том, что у нас было сказано.

Чужеземец. Ты чудак! Трудно ведь, не пользуясь образцами, пояснить что-либо важное. Ведь каждый из нас, узнав что-то словно во сне, начисто забывает это, когда снова оказывается будто бы наяву.

Сократ-мл. Как это ты говоришь?

Чужеземец. Думается, я весьма странным образом затронул сейчас то, что происходит с нами в отношении знания.

Сократ-мл. Как так?

Чужеземец. У меня, милый мой, оказалась нужда в образце самого образца.

Сократ-мл. Так что же? Скажи! Уж меня-то ты можешь не стесняться.

Чужеземец. Скажу, если ты готов за мной следовать. Ведь известно, что дети, когда они только что научились азбуке...

Сократ-мл. Как ты сказал?

Чужеземец. Что они достаточно ясно распознают любую букву в самых кратких и легких слогах и способны дать о ней верный ответ.

Сократ-мл. Почему бы и нет?

Чужеземец. Что же касается других слогов, то в них относительно тех же букв дети недоумевают и в мысли и на словах.

Сократ-мл. И даже очень.

Чужеземец. Так не легче и не лучше ли всего следующим образом наводить их на то, чего они еще не знают...

Сократ-мл. Каким именно?

Чужеземец. Прежде всего надо обращать их внимание на те слоги, в которых они хорошо выучили те же самые буквы, а затем сопоставлять эти слоги с теми, которые им еще не известны, и показывать подобие и однородность всех этих сочетаний до тех пор, пока все незнакомое, поставленное рядом с тем, что правильно мнят, не будет объяснено и из этого объяснения не возникнут образцы, которые покажут, что каждая буква в каждом слоге, если она отличается от другой, должна и называться иначе, а если она подобна какой-либо букве, то и название у них должно быть одинаковое.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Значит, это мы достаточно усвоили – что образец появляется тогда, когда один и тот же [признак], по отдельности присущий разным предметам, правильно воспринимается нами и мы, сводя оба [представления] вместе, составляем себе единое истинное мнение?

Сократ-мл. Это очевидно.

Чужеземец. Так надо ли нам удивляться, если наша душа, испытывая по своей природе то же самое в отношении первоначал всех вещей, иногда, руководимая истиной, узнаёт в некоторых [сочетаниях] каждый отдельный [признак], а иногда, в отношении других [сочетаний], колеблется по поводу всех [признаков] и некоторые из них каким-то образом правильно представляет себе в одних сочетаниях, а когда те же самые признаки перенесены в другие, большие и нелегкие сочетания вещей, снова их не узнаёт?

Сократ-мл. Да, удивляться здесь не приходится.

Чужеземец. Как мог бы, мой друг, кто-нибудь, исходя из ложного мнения, добиться хоть малой толики истины и обрести разумение?

Сократ-мл. Это почти невозможно.

Чужеземец. Коль скоро дело обстоит таким образом, мы – я и ты, верно, ничуть не погрешим, если решимся познать природу образца по частям, сперва увидев ее в маленьком образце, а затем с меньших образцов перенеся это на идею царя как на величайший образец подобного же рода, и уже с помощью этого образца попытаемся искусно разведать, что представляет собой забота о государстве, – дабы сон у нас превратился в явь?

Сократ-мл. Было бы совершенно правильно поступить именно так.

Чужеземец. Значит, нужно вернуться к прежнему рассуждению, а именно: хотя тысячи людей оспаривают у рода царей заботу о государствах, надо отвлечься от всех них и оставить только царя; а для этого нам необходим, как было сказано, образец.

Сократ-мл. Весьма даже необходим.

Чужеземец. Какой же можно найти самый малый удовлетворительный образец, который был бы причастен той же самой – государственной – деятельности? Ради Зевса, Сократ, хочешь, за неимением лучшего, выберем ткацкое ремесло? Да и его – не целиком; быть может, будет достаточно тканья из шерсти: пожалуй, эта выделенная нами часть скорее всего засвидетельствует то, чего мы ждем.

Сократ-мл. Почему бы и нет?

Чужеземец. Так отчего бы нам, подобно тому как раньше, отсекая части от [больших] частей, мы делили каждый [род], не сделать того же самого и с тканьем и, по возможности быстро пробежав весь путь, не прийти снова к тому, что для нас полезно?

Сократ-мл. Как ты говоришь?

Чужеземец. Пусть ответом послужит тебе само рассуждение.

Сократ-мл. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Все, что мы производим и приобретаем, служит нам либо для созидания чего-либо, либо для защиты от страданий. А из того, что защищает нас от страданий, одни вещи служат противоядиями – божественными и человеческими, другие – средствами защиты. Из последних же одни – это военное оружие, другие – охранные средства; а из охранных средств одни – это укрытия, другие же – средства защиты от холода и жары. Из этих средств одни – это кровли домов, другие – различные покровы. Из покровов одни – это ковры, другие – накидки. Из накидок же одни – цельные, другие состоят из частей. Из этих последних одни – сшитые, другие же связаны и держатся без швов. А из этих несшитых накидок одни делаются из растительных нитей, другие же – из волос. Те, что сделаны из волос, одни скреплены водой и землей, другие же связаны между собой. Так не защитным ли средствам и покровам, созданным путем такого взаимного переплетения, дали мы имя одежды? А искусство, которое преимущественно печется об одежде, не назвать ли нам портняжным ремеслом, подобно тому как мы раньше искусство, пекущееся о государствах, назвали государственным? И мы

можем сказать, что ткацкое искусство, поскольку оно составляет наибольшую часть портняжного ремесла, ничем от него не отличается, кроме как именем, точно так же как искусство царствовать ничем иным не отличается от искусства государственного правления.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Сообразим же после этого, что искусство тканья одежды, названное таким образом, кто-нибудь мог бы счесть достаточно ясно определенным, не сумев понять, что оно еще не отделено от очень близких ему искусств, хотя от других, родственных искусств, и отграничено.

Сократ-мл. От каких это родственных?

Чужеземец. Кажется, тыне уследил за сказанным. Видно, надо теперь идти назад от конца. Ведь если тебе понятно, что это такое – родственное искусство, то смотри: от нашего искусства мы сейчас только отделили искусство составлять ковры – те, которыми укрываются, и те, что подстилают.

Сократ-мл. Понимаю.

Чужеземец. Мы отделили также все ремесла по льну и жгутам и прочим растительным, как мы их назвали в рассуждении, нитям; отделили и валяльное искусство, и стачивание с помощью шитья и швов: сюда преимущественно относится сапожное мастерство.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Далее, мы отделили всевозможную работу по цельным накидкам, т. е. коженное искусство, затем кровельное искусство, применяемое в домостроительстве, в плотничьем ремесле в целом и во всех искусствах, занятых предохранением от проникновения влаги; отделили также искусство оград, защищающих от воров и насильников, как занимающееся изготовлением защитных средств и укреплением ворот и дверей, а также все прочее, что представляет собой часть искусства скреплять гвоздями. Далее, мы отсекли и искусство вооружения – часть огромного и разнообразного мастерства по сооружению защитных приспособлений. В самом же начале мы отделили целиком магическое искусство, занимающееся лекарствами, и оставили, как нам показалось верным, искомое – то, что уберегает от стужи, изготавливает шерстяные накидки и носит наименование ткацкого искусства.

Сократ-мл. Выходит, так.

Чужеземец. Но это, мой мальчик, еще не конец. Ведь в начале изготовления одежды делается нечто прямо противоположное тканью.

Сократ-мл. Как так?

Чужеземец. Часть ткани – некое переплетение.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Другая же часть – распускание того, что было соединено и сплетено.

Сократ-мл. Какое распускание?

Чужеземец. Это – дело чесального искусства. Ведь не посмеем же мы назвать ткацкое искусство – чесальным, а чесальное – ткацким?

Сократ-мл. Ни в коем случае.

Чужеземец. И так же если кто назовет ткачеством работу с утком и основой, ведь он даст ей необычное и ложное наименование?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Что же? Валяльное искусство и искусство починки вряд ли ведь мы можем все в целом назвать заботой и уходом за одеждой? Или, несмотря ни на что, мы все же назовем все это ткацким искусством?

Сократ-мл. Ни в коем случае.

Чужеземец. Однако все они станут оспаривать уход за одеждой и ее изготовление у ткацкого мастерства, оставляя за ним большую долю, но и себе уделяя немалую часть.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Да вдобавок, надо думать, и искусства, с помощью которых изготавливаются ткацкие орудия, вообразят себя причинами появления на свет всякой ткани.

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Так будет ли наше объяснение ткацкого искусства в отношении той части, которую мы выделили, полным и определенным, если мы допустим, что из всех видов ухода за шерстью это наиболее прекрасный и великий вид? Или же мы выскажем таким образом нечто истинное, однако малопонятное и незавершенное, пока мы не отделили от тканья и все эти искусства?

Сократ-мл. Да, это так.

Чужеземец. Что ж, не сделать ли нам того, о чем мы говорим, чтобы наше рассуждение шло по порядку?

Сократ-мл. Почему бы этого и не сделать?

Чужеземец. Итак, во всем том, что делается, различим прежде всего два искусства.

Сократ-мл. Какие же?

Чужеземец. Одно из них – вспомогательная причина созидания, другое – причина, как таковая.

Сократ-мл. Как это?

Чужеземец. Все искусства, создающие не само изделие, но орудия для тех, кто его производит, – орудия, без которых никогда не была бы выполнена задача любого из искусств, – носят название вспомогательных причин; те же искусства, которые производят само изделие, – причин, как таковых.

Сократ-мл. Это имеет под собой основание.

Чужеземец. Согласно этому, мы назовем все искусства, изготавливающие веретена, челноки и прочие орудия для производства одежд, вспомогательными причинами, те же искусства, что заботятся о самих изделиях и их производят, – причинами, как таковыми.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. А из причин [как таковых] искусство промывания, починки и прочие виды ухода [за одеждой], притом что искусство украшательное очень велико по объему, прилично выделить в отдельную часть, назвав все вместе валяльным искусством.

Сократ-мл. Прекрасно.

Чужеземец. Да и чесальное, и прядильное искусства, а также все остальные части производства одежды, как мы их назвали, составляют одно искусство, которое люди называют шерстопрядильным.

Сократ-мл. Да, не иначе!

Чужеземец. Шерстопрядильное же искусство пусть будет рассечено надвое, причем каждый раздел одновременно будет составлять часть двух искусств.

Сократ-мл. Как это?

Чужеземец. Чесальное искусство и половина искусства пользования челноком – поскольку они разделяют то, что сплетено вместе, – некоторым образом относятся (чтобы назвать это одним словом) к самому шерстопрядильному искусству; но, кроме того, есть еще два больших искусства, распространяющихся на всё: это искусство соединения и искусство разделения.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. К искусству разделения относится чесальное искусство и все то, что было сейчас упомянуто. Ведь все эти названия произошли от разделения шерстяных нитей и основы, но челнок делает это по-одному, руки же – по-другому.

Сократ-мл. Безусловно, так.

Чужеземец. Теперь снова возьмем вместе часть соединительного искусства и относящуюся к нему часть искусства шерстопрядильного. Все то, что относилось здесь к разделитель-

ному искусству, оставим в покое, а шерстопрядильное искусство снова разделим на разделительную и соединительную части.

Сократ-мл. Пусть будет разделено.

Чужеземец. Но соединительную часть совместно с шерстопрядильной тебе снова надо разделить, Сократ, если мы хотим достаточно точно постичь ткацкое искусство.

Сократ-мл. Значит, надо это сделать.

Чужеземец. Да, надо. И мы скажем, что в этом случае одна часть соединительного искусства – сучение, другая же – плетение.

Сократ-мл. Понял, понял: мне кажется, говоря о сучении, ты имеешь в виду работу по основе.

Чужеземец. Не только ее, но и работу с утком. Или мы можем сказать, что она делается без сучения?

Сократ-мл. Ни в коем случае.

Чужеземец. Итак, тебе следует разграничить то и другое: возможно, это разграничение тебе пригодится.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. А вот каким: из творений чесального искусства то, что вытягивается в длину, а также получает и ширину, мы ведь называем пучком?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. А свитый веретеном и ставший прочной пряжей этот пучок оказывается, скажешь ты, основой; искусство же, растягивающее основу, ты назовешь искусством ее готовить.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Все то, что допускает мягкую пряжу и, вплетенное в основу, позволяет мягко начесывать ворс, мы называем утком, а предназначенное для этого мастерство – искусством пряхь уток.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. И вот, следовательно, та часть ткацкого искусства, которую мы предположительно выделили, ясна теперь, как кажется, всякому: ибо когда соединительная часть шерстопрядильного искусства путем переплетения основы и утка создает плетение и получается цельноплетеное шерстяное платье, то искусство, направленное на это, мы называем ткацким.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Пусть будет так. Но почему мы тотчас же не ответили, что искусство сплетения утка и основы и есть то, что мы называем ткацким искусством, а ходили вокруг да около, давая много лишних определений?

Сократ-мл. Но мне, чужеземец, ничего из сказанного не показалось лишним.

Чужеземец. Ничего удивительного: но скоро, мой милый, тебе это, быть может, покажется. И, чтобы предотвратить этот недуг, который может часто впоследствии возникать (ничего странного в этом нет), выслушай слово, близко касающееся всех таких случаев.

Сократ-мл. Говори, говори.

Чужеземец. Давай же сначала рассмотрим все виды излишества и недостатка, чтобы на достаточном основании хвалить либо порицать то, что в подобных беседах говорится слишком длинно или, наоборот, слишком кратко.

Сократ-мл. Надо так сделать.

Чужеземец. Ну, коль скоро об этих самых вещах пойдет у нас речь, она будет, думается мне, правильной.

Сократ-мл. О каких вещах?

Чужеземец. О длиннотах и о краткости и о всяком излишестве и недостатке. Существует же для этого искусство измерения.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Разделим его на две части: ведь это нужно для той цели, достичь которой мы сейчас торопимся.

Сократ-мл. Скажи, пожалуйста, какое же здесь будет деление?

Чужеземец. А вот какое: одна часть – это взаимоотношение великого и малого; другая – необходимая сущность становления.

Сократ-мл. Как, как ты говоришь?

Чужеземец. Не кажется ли тебе естественным называть большее большим лишь в отношении к меньшему? И меньшее меньшим лишь в отношении большего и ничего иного?

Сократ-мл. Да, кажется.

Чужеземец. Далее. То, что превышает природу умеренного, и то, что превышает ее, как на словах, так и на деле, не назовем ли мы действительно становящимся? Ведь именно этим отличаются среди нас друг от друга хорошие люди и плохие?

Сократ-мл. Это очевидно.

Чужеземец. Значит, нам надо считать двойкой сущность великого и малого и двойким суждение о них и рассматривать их не только так, как мы говорили недавно – в их отношении друг к другу, но скорее, как было сказано теперь, одну [их сущность] надо рассматривать во взаимоотношении, а другую – в ее отношении к умеренному. А для чего все это – хотим ли мы знать?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Если относить природу большего только к меньшему, то мы никогда не найдем его отношения к умеренному, не так ли?

Сократ-мл. Так.

Чужеземец. Но таким образом не погубим ли мы и сами искусства, и все их дела, а заодно не уничтожим ли мы и политика, и ткацкое искусство, о котором шла речь? Ведь все они остерегаются того, что превышает умеренное или меньше него, – не потому, что того и другого не существует, но потому, что это затрудняет свершения: сохраняя таким образом меру, они совершают все хорошее и прекрасное.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Ведь если мы уничтожим политика, наш поиск царственного знания зайдет в тупик.

Сократ-мл. Да, совершенно.

Чужеземец. Значит, подобно тому как в «Софисте» мы вынуждены были признать, что существует несуществующее, – ведь к этому привело нас рассуждение – и сейчас нам, видно, придется сказать, что большее и меньшее измеримы не только друг по отношению к другу, но и по отношению к становлению меры? Ведь невозможно, чтобы политик или другой какой-либо знаток практических дел был бесспорно признан таковым до того, как по этому вопросу будет достигнуто согласие.

Сократ-мл. Значит, надо как можно скорее это согласие установить.

Чужеземец. Но дело это, Сократ, еще более трудное, чем то, а мы помним, каким долгим оно было. Впрочем, справедливым будет следующее предположение относительно того и другого...

Сократ-мл. Какое же?

Чужеземец. А вот что: впоследствии для точного пояснения главного вопроса понадобится нами изложенное сейчас. А что оно для нашей ближайшей цели вполне хорошо и достаточно, мне кажется, прекрасно поможет нам понять следующее положение: надо считать, что все искусства равно существуют и что большее и меньшее измеряются не только в отношении друг к другу, но и в отношении к становлению меры. Ибо если существует это, то существует

и то, а если существует то, значит, существует и это, и, не будь какого-нибудь из них, не было бы ни того ни другого.

Сократ-мл. Это верно, но что же дальше?

Чужеземец. Ясно, что мы разделим искусство измерения, как было сказано, на две части, причем к одной отнесем все искусства, измеряющие число, длину, глубину, ширину и скорость путем сопоставления с противоположным, а к другой – те искусства, которые измеряют все это путем сопоставления с умеренным, подобающим, своевременным, надлежащим и со всем тем, что составляет середину между двумя крайностями.

Сократ-мл. Ты назвал два огромных раздела, сильно отличающихся один от другого.

Чужеземец. То, Сократ, что люди изысканного ума говорят иногда, полагая, будто произносят нечто в высшей степени мудрое, а именно, что искусство измерения направлено на все становящееся, – это самое мы сейчас и сказали: ибо все, что относится к области искусств, каким-то образом причастно измерению. Но люди эти, не привыкнув рассматривать подобные вещи, деля их на виды, валят их все в одну кучу, несмотря на огромное существующее между ними различие, и почитают их тождественными, а также и наоборот: не разделяют на надлежащие части то, что требует такого деления. Между тем следует, когда уж замечаешь общность, существующую между многими вещами, не отступать, прежде чем не заметишь всех отличий, которые заключены в каждом виде, и, наоборот, если увидишь всевозможные несходства между многими вещами, не считать возможным, смутившись, прекратить наблюдение раньше, чем заключишь в единое подобие все родственные свойства и охватишь их единой сущностью.

Однако об этом, а также обо всем избыточном и недостаточном сказанного будет довольно. Сохраним лишь выделенные нами здесь два рода измерительного искусства и постараемся запомнить, что они собой представляют.

Сократ-мл. Постараемся.

Чужеземец. Ну что ж, перейдем теперь к другому рассуждению – относительно того самого, что мы ищем, и обо всех вообще обстоятельствах подобного рода бесед.

Сократ-мл. О каком рассуждении ты говоришь?

Чужеземец. Если бы кто-нибудь спросил нас относительно беседы, касающейся изучения грамоты: когда задается кому-нибудь вопрос, из каких букв состоит некое имя, ради чего предпринимается это исследование – ради самого предложенного вопроса или ради того, чтобы стать более знающим во всех вопросах, которые могут быть поставлены, – как бы мы на это ответили?

Сократ-мл. Разумеется, чтобы знать всё.

Чужеземец. А как же обстоит дело с нашим исследованием политика? Предпринимается ли оно ради него самого или же для того, чтобы стать более сведущими в диалектике всего?

Сократ-мл. Разумеется, ради последнего.

Чужеземец. В самом деле, ведь никто, находясь в здравом уме, не стал бы гоняться за понятием ткацкого искусства ради самого этого искусства. Однако, думаю я, от большинства людей скрыто, что для облегчения познания некоторых вещей существуют некие чувственные подобию, которые совсем нетрудно выявить, когда кто-нибудь хочет человеку, интересующемуся их объяснением, без труда, хлопот и рассуждений дать ответ. Что же касается вещей самых высоких и чтимых, то для объяснения их людям не существует уподобления, с помощью которого кто-нибудь мог бы достаточно наполнить душу вопрошающего, применив это уподобление к какому-либо из соответствующих ощущений. Поэтому-то и надо в каждом упражнять способность давать объяснение и его воспринимать. Ибо бестелесное – величайшее и самое прекрасное – ясно обнаруживается лишь с помощью объяснения, и только него, и вот ради этого-то и было сказано все то, что сейчас говорилось. Упражняться же, чего бы это ни касалось, гораздо легче бывает в малых вещах, чем в большом.

Сократ-мл. Ты великолепно сказал.

Чужеземец. Давай же припомним, для чего мы обо всем этом заговорили.

Сократ-мл. Да, для чего?

Чужеземец. Не в последнюю очередь – из-за неудобства продолжительной речи относительно ткацкого искусства, переворота во Вселенной и сущности небытия в связи с софистом и из-за вызванной этой речью скуки. Понимая, что все это было очень длинно, и коря самих себя, мы убоялись наговорить много лишнего. И чтобы этого с нами не повторилось, скажу, что все прежнее было говорено нами именно с этой целью.

Сократ-мл. Пусть будет так. Ты только говори по порядку.

Чужеземец. Следовательно, я говорю, что мне и тебе надо, припомнив только что сказанное, всегда выражать похвалу или порицание тому, что говорится, соответственно за краткость и за длинноты, причем мы должны судить не на основании сравнения длины одной и другой [речи], но в соответствии с той частью измерительного искусства, которую, как мы сказали тогда, надо иметь в виду, а именно в соответствии с подобающим.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Однако не в отношении ко всему. Когда речь идет об удовольствии, нам вовсе нет нужды определять подобающую ему продолжительность, разве что мимоходом; когда же речь идет о том, чтобы как можно скорее и легче решить поставленную задачу, разум велит предпочитать второе решение первому.

Более всего он велит почитать сам метод [решения], состоящий в том, чтобы различать [все вещи] по видам и стараться дать объяснение, не считаясь с длиннотами, если они делают слушателя изобретательнее; точно так же обстоит дело и с краткостью.

И вот еще что: тому, кто порицает подобные беседы за длину речи и кто не приемлет таких обходных движений, не следует слишком легко и скоро позволять корить речь лишь за то, что она длинна, но надо еще требовать, чтобы он указал, каким образом она может стать короче и сделать беседующих лучшими диалектиками, чем они были раньше, более изобретательными в рассуждении и объяснении сущностей; в остальном же собеседникам не следует особенно заботиться о порицаниях и похвалах, да и слушать-то им подобные речи вовсе негоже.

Но будет об этом, коли ты со мной согласен. Вернемся к политике, беря в пример уже объясненное нами ткацкое искусство.

Сократ-мл. Ты прекрасно сказал. Сделаем же, как ты говоришь.

Чужеземец. Итак, [искусство] царя отделено нами от многих родственных ему искусств, особенно же от тех, что относятся к уходу за стадами. Теперь, скажем мы, следует отделить друг от друга те искусства, которые выступают в качестве основных и вспомогательных причин в жизни самого государства.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. А знаешь ли ты, что их трудно разделить надвое? И причина этого, когда мы двинемся дальше, станет вполне очевидной.

Сократ-мл. Значит, и не нужно делить надвое.

Чужеземец. Разделим же их почленно, наподобие жертвенного животного, раз уж нельзя делить надвое: ведь всегда следует брать наименьшее число частей.

Сократ-мл. Как же мы поступим теперь?

Чужеземец. А как прежде, когда речь шла об изготовлении ткацких орудий: сколько бы ни было таких искусств, мы все их отнесли к причинам вспомогательным.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. И сейчас нам, еще более, чем тогда, надобно поступить точно так же. Сколько бы искусств ни занимались изготовлением большого ли, малого ли орудия для государства, все их надо отнести к вспомогательным причинам: ведь без них не было бы ни государства, ни политики, хотя мы и не припишем им создание царского искусства.

Сократ-мл. Конечно, нет.

Чужеземец. Впрочем, нелегкое предстоит нам дело, если мы беремся отделить этот род от прочих: ведь сказать, будто есть орудие чего-то одного из существующего, было бы вполне убедительным; однако мы будем говорить о другой принадлежности государства.

Сократ-мл. Какой же именно?

Чужеземец. Той, которая не обладает указанным свойством и связана не с причиной возникновения, как это верно для орудия, а с сохранением того, что уже создано.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Многообразный род, одновременно сухой и влажный, огненный и лишенный огня, единственное имя которому – «сосуд»: род этот обширен и, как я думаю, не имеет никакого отношения к искомому знанию.

Сократ-мл. Да и как ему иметь?

Чужеземец. Третий, отличный от этих двух, род государственных принадлежностей, часто наблюдаемый, одновременно сухопутный и водный, весьма подвижный и неподвижный, драгоценный и вовсе не имеющий цены, также носит единственное имя, потому что в целом он создан ради некоего восседания и всегда служит кому-то сиденьем.

Сократ-мл. Что же это?

Чужеземец. Род этот мы называем повозкой, и относится он вовсе не к искусству государственного правления, а скорее к плотничьему, гончарному и кузнечному делу.

Сократ-мл. Понимаю.

Чужеземец. Что же сказать о четвертом роде? Скажем ли мы, что он отличен от тех трех, хотя в нем и содержится большая часть того, о чем говорилось выше, – всякая одежда, значительная толика оружия, стены, всевозможные земляные и каменные перекрытия и тысячи других подобных вещей? Так как все это производится для защиты, то справедливее всего было бы назвать весь этот род защитным и отнести его к домостроительному и ткацкому искусствам, но никак не к искусству государственного правления.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. А к пятому роду не причислить ли нам все то, что относится к искусствам украшения и живописи и что, пользуясь этим последним и музыкой, создает подражания, направленные исключительно к нашему удовольствию и по праву охватываемые единым именем?

Сократ-мл. Каким именно?

Чужеземец. Примерно таким: игра.

Сократ-мл. Да, конечно.

Чужеземец. Итак, вот что будет приличным общим названием для всех подобного рода вещей: ведь все это делается не всерьез, но ради забавы.

Сократ-мл. И это мне почти что понятно.

Чужеземец. То же, что доставляет всему этому материал, из которого и на котором творят свои изделия все перечисленные искусства, – этот разнообразный род, порождение многих других искусств – не назовем ли мы шестым?

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Золото, серебро и другие добываемые из земли металлы, а также все то, что лесорубы и пильщики поставляют искусству плотника и корзинщика; далее, искусство драть лыко с деревьев и снимать шкуры с животных и все прочие подобного рода искусства – те, что изготавливают пробки, папирус, ремни, – все они доставляют возможность создавать сложные виды из несложных родов. Мы назовем все это единым именем простейших исконных принадлежностей человечества, не имеющих никакого отношения к царскому знанию.

Сократ-мл. Прекрасно.

Чужеземец. Седьмым родом следует назвать добывание пищи и все то, будучи приращено к телу, обладает способностью своими частями поддерживать его части; название же всему этому роду будет «наш кормилец», коль скоро мы не подберем ему лучшего. Род этот мы скорее отнесем к земледелию, охоте, гимнастике и врачеванию, чем к искусству государственного правления.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Итак, почти все, что нам принадлежит, кроме домашних животных, содержится в этих семи родах. Смотри-ка, самым справедливым расположением их было бы следующее: сначала – род простейших исконных вещей, затем – орудия, сосуды, повозки, покровы, игра, питание. Мы оставляем в стороне незначительные вещи, которые могли бы быть отнесены к одному из этих семи родов и которые мы упустили из виду: таков вид монет, печатей и разных чеканных знаков, ибо эти вещи не составляют большого одноименного рода, но могут быть отнесены, хоть и с натяжкой, одни – к украшениям, другие – к орудиям.

Что же касается приобретения домашних животных (если исключить рабов), – то оно целиком входит в искусство ухода за стадом в том виде, как мы его подразделили раньше.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Остаются рабы и другие слуги, среди которых, я полагаю, найдутся такие, что станут оспаривать у царя его мастерство, как оспаривают его у ткача, согласно тому, что сказали мы раньше, прядильщики, чесальщики и прочие подобного рода умельцы. А все остальные, названные нами вспомогательными причинами, вместе с их перечисленными сейчас занятиями отделены нами и устранены от царского занятия – искусства государственного правления.

Сократ-мл. Похоже, что так.

Чужеземец. Давай же приступим ближе и рассмотрим прочие роды, чтоб основательнее их узнать.

Сократ-мл. Да, это необходимо.

Чужеземец. Главные слуги, если смотреть с такой точки зрения, оказываются, имеют занятия и качества противоположные тем, которые мы за ними предполагали.

Сократ-мл. Какие же?

Чужеземец. Слуг, приобретаемых путем купли-продажи, можно, бесспорно, назвать рабами: они менее всего причастны царскому искусству.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Далее. Свободные люди, добровольно примыкающие к сословию слуг, поставляющие друг другу плоды земледелия и других ремесел и распределяющие их между собой, одни на рынках, другие переезжая из города в город по суше и по воде, а также обменивающие деньги на товар и на другие деньги, – иначе говоря, люди, которых мы называем менялами, купцами, владельцами судов и мелочными торговцами, станут ли считать себя причастными искусству государственного правления?

Сократ-мл. Скорее уж, может быть, искусству купли-продажи.

Чужеземец. И тех, кто, как мы видим, весьма охотно служит по найму и всем услужает, мы ведь не сочтем причастными царскому искусству?

Сократ-мл. Как можно!

Чужеземец. А что сказать о тех, кто оказывает нам всякий раз вот какие услуги...

Сократ-мл. Какие? О чем ты говоришь?

Чужеземец. Я говорю об услугах рода глашатаев, а также о тех, кто искусен в искусстве письмен и часто оказывает нам помощь, и обо многих других весьма искусных в деле оказания услуг властям. Что мы о них скажем?

Сократ-мл. Что они, как ты и сказал, слуги, а не правители государств.

Чужеземец. Однако не во сне же я молвил, что таким путем обнаружатся люди, особо притязающие на причастность к государственному искусству. Но весьма странно было бы искать государственных людей в сословии слуг.

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Приблизимся, однако, к тем, кто пока еще не испытан. И в тех, кто занимается прорицаниями, есть какая-то частица служебного знания: ведь они считаются меж людьми толкователями воли богов.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Точно так же и род жрецов, как считают обычно, сведущ в том, чтобы путем жертвоприношения делать наши дары угодными богам, а у них, с помощью молитв, испрашивать для нас различные блага. То и другое – части служебного искусства.

Сократ-мл. Это очевидно.

Чужеземец. Что ж, мне кажется, мы напали уже на след, по которому можем идти вперед. Ведь положение жрецов и прорицателей таково, что они исполнены высочайших помыслов и пользуются великим почетом благодаря важности их начинаний. В Египте царь не может без жреческого сана осуществлять правление, и если даже кто-нибудь из другого сословия путем насилия восходит там на престол, то в дальнейшем он все равно должен быть посвящен в жреческий сан. Так же и у эллинов повсеместно поручается высочайшим властям приносить самые важные жертвоприношения. Ведь и у вас – это совершенно очевидно – дело обстоит так, как я говорю: тому из вас, кому выпадет жребий царствовать, поручаются самые торжественные и древние жертвоприношения.

Сократ-мл. Да, несомненно.

Чужеземец. Итак, нам надо рассмотреть этих избранных жеребьевкой царей и жрецов, а также их слуг и еще некую многочисленную толпу, недавно представившуюся нашему взору после того, как мы отделили всех остальных.

Сократ-мл. О ком ты говоришь?

Чужеземец. О людях весьма странных.

Сократ-мл. А именно?

Чужеземец. На первый взгляд этот род кажется очень многообразным. Многие из этих мужей походят на львов, некоторые – на кентавров и на другие подобные создания, большинство же – на сатиров и на сходные с ними существа, слабые и изменчивые: они быстро меняют свой облик и свои свойства на другие. Да, наконец-то, Сократ, мне кажется, я понял, что это за люди.

Сократ-мл. Ну так скажи. Ведь похоже, что ты усмотрел что-то несообразное.

Чужеземец. Да, это кажется всем несообразным по неведению. Я и сам испытал вот лишь сейчас недоумение, узрев сборище, занятое делами города.

Сократ-мл. Что за сборище?

Чужеземец. Это величайшие шарлатаны из софистов, искуснейшие в этом деле. Нам необходимо отделить их, хоть это и очень трудно, от действительных политиков и царей, если только мы хотим хорошо уяснить себе то, что мы ищем.

Сократ-мл. Да, этого ни в коем случае нельзя упустить.

Чужеземец. Я тоже так считаю. Скажи же мне вот что...

Сократ-мл. Что?

Чужеземец. У нас монархия – это один из видов государственного правления?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. А после монархии, я думаю, надо назвать правление немногих.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Третий же вид государственного устройства не есть ли правление большинства и не носит ли оно имя демократии?

Сократ-мл. Да, несомненно.

Чужеземец. А не образуется ли из этих трех видов пять, если два [первых] вида порождают для себя из самих себя другие названия?

Сократ-мл. Какие же это названия?

Чужеземец. Если принять во внимание имеющиеся в этих двух видах государственного устройства насилие и добрую волю, бедность и богатство, законность и беззаконие, то каждый из них можно разделить надвое, причем монархия будет носить два имени: тирании и царской власти.

Сократ-мл. Да, конечно.

Чужеземец. А государство, управляемое немногими, будет носить название аристократии или же олигархии.

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Что касается демократии, то правит ли большинство насильственно или согласно с доброй волей теми, кто обладает имуществом, точно ли оно соблюдает законы или же нет, никто ей, как правило, не даст иного имени.

Сократ-мл. Это верно.

Чужеземец. Что же? Сочтем ли мы какое-либо из этих устройств правильным, если оно находится в этих границах, то есть управляется одним, немногими или большинством, бывает богатым или бедным, насильственным или добровольным и имеет установления или же лишено законов?

Сократ-мл. А что препятствует тому, чтобы так считать?

Чужеземец. Посмотри же пристальнее, следуя этим путем...

Сократ-мл. Каким?

Чужеземец. Останемся ли мы при том, что сказали раньше, или же отступим от этого?

Сократ-мл. О чем ты говоришь?

Чужеземец. Мы говорили, что царское правление есть некое знание.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Но мы выбрали его не из всех вообще знаний, но выделили умение судить и повелевать.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. А умение повелевать мы разделили на повелевание неодушевленными видами и одушевленными существами; разделив же его таким образом, мы пришли наконец сюда, не упустив из виду знания, хоть и не можем его достаточно точно определить.

Сократ-мл. Ты правильно говоришь.

Чужеземец. Итак, мы понимаем теперь, что определяющей границей тут будет не количество правителей – много их или мало, не насилие или добрая воля, а также не бедность или богатство, но некое знание, – если только мы хотим следовать тому, что было сказано раньше.

Сократ-мл. Иное допущение невозможно.

Чужеземец. Значит, необходимо рассмотреть это теперь следующим образом: в каком из упомянутых нами [государственных устройств] кроется умение управлять людьми? Ведь это одно из сложнейших и самых труднодостижимых умений. Его надо понять для того, чтобы знать, кого следует отделить от разумного государя из тех, кто делает вид, что они политики, и убеждает в этом многих, на самом же деле вовсе не таковы.

Сократ-мл. Надо это сделать так, как указало нам рассуждение.

Чужеземец. Представляется ли, что большинство людей в государстве может обладать этим знанием?

Сократ-мл. Вряд ли это возможно!

Чужеземец. А в городе с населением в тысячу человек может ли им обладать сто или хотя бы пятьдесят мужей?

Сократ-мл. Если так, то это было бы легчайшим из всех искусств; а мы знаем, что из тысячи человек не найдется против остальных эллинов такого количества даже отличных игроков в шашки, не то что царей. Мы должны в соответствии с прежним рассуждением наречь царем того, кто обладает царским знанием, – правит ли он на самом деле или нет.

Чужеземец. Ты верно вспомнил. Согласно этому, хорошее правление, если только оно бывает, следует искать у одного, двоих или во всяком случае немногих людей.

Сократ-мл. Конечно!

Чужеземец. И мы должны будем считать, как мы это сейчас решили, что, правят ли эти люди добровольно или против воли, согласно установлениям или без них, богаты они или бедны, они правят в соответствии с неким искусством правления. Ведь врачей мы почитаем врачами независимо от того, лечат ли они нас добровольно или против воли, когда они делают нам разрезы, прижигания или, пользуя нас, причиняют другую какую-то боль, действуют они согласно установлениям или помимо них и богаты ли они или бедны, – пока они руководствуются искусством, очищая или как-то по-иному ослабляя либо, наоборот, укрепляя наше тело, – лишь бы врачеватели действовали на благо наших тел, превращали их из слабых в более крепкие и тем самым всегда спасали врачуемых. Именно таким образом, а не иным мы дадим правильное определение власти врача, как и всякой другой власти.

Сократ-мл. Ты совершенно прав.

Чужеземец. И из государственных устройств то необходимо будет единственно правильным, в котором можно будет обнаружить истинно знающих правителей, а не правителей, которые лишь кажутся таковыми; и будет уже неважно, правят ли они по законам или без них, добровольно или против воли, бедны они или богаты: принимать это в расчет никогда и ни в коем случае не будет правильным.

Сократ-мл. Прекрасно.

Чужеземец. И пусть они очищают государство, казня или изгоняя некоторых, во имя его блага, пусть уменьшают его население, выводя из города подобно пчелиному рою колонии, или увеличивают его, включая в него каких-либо иноземных граждан, – до тех пор, пока это делается на основе знания и справедливости и государство по мере сил превращается из худшего в лучшее, мы будем называть такое государственное устройство – в указанных границах – единственно правильным. Другие же государственные устройства, которые мы считали правильными, следует признать не подлинными, не действительно правильными, а лишь подражаниями правильному устройству, причем те, которые мы называем благоустроенными, подражают ему в лучшем, остальные же в худшем.

Сократ-мл. Чужеземец, обо всем прочем ты говорил, как нужно; а вот о том, что следует управлять без законов, слышать тяжко.

Чужеземец. Ты чуть-чуть опередил меня своим вопросом, Сократ: ведь я и сам хотел расспросить тебя, принимаешь ли ты все мной сказанное, или что-нибудь из этого тебе неуютно. Теперь же ясно, что мы стремимся разобраться правильность правления без законов.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Некоторым образом ясно, что законодательство – это часть царского искусства; однако прекраснее всего, когда сила не у законов, а в руках царственного мужа, обладающего разумом. И знаешь, почему?

Сократ-мл. Нет. Почему?

Чужеземец. Потому что закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого, и это ему предписать. Ведь несходство, существующее между людьми и между делами людей, а также и то, что ничто человеческое никогда не находится в покое, – все это не допускает однозначного проявления какого бы то ни было искусства в отношении всех людей и на все времена. Согласимся ли мы в этом?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Закон же, как мы наблюдаем, стремится именно к этому подобно самонадеянному и невежественному человеку, который никому ничего не позволяет ни делать без его приказа, ни даже спрашивать, хотя бы кому-то что-нибудь новое и представилось лучшим в сравнении с тем, что он наказал.

Сократ-мл. Сущая правда: закон поступает по отношению к каждому из нас именно так, как ты говоришь.

Чужеземец. Следовательно, невозможно, чтобы совершенно простое соответствовало тому, что никогда простым не бывает.

Сократ-мл. Видимо, так.

Чужеземец. Для чего же нужно законодательство, если закон несовершенен? Мы должны найти этому причину.

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. Ведь у вас, как и в других городах, существует обычай всенародных упражнений – в беге ли или еще в чем-нибудь – ради последующих состязаний?

Сократ-мл. Да, это очень распространено.

Чужеземец. Давай же припомним приказания тех, кто сведущ в гимнастических упражнениях и имеет власть эти приказания отдавать.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Они не считают уместным вдаваться в тонкости, имея в виду каждого в отдельности и давать указания, что полезно для тела того либо другого человека; наоборот, они думают, что надо более грубо и приближенно давать наказания, так, чтобы они в целом приносили пользу телам большей части людей.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Потому-то, возможно, они одинаково распределяют между всеми нагрузку, то приказывая всем одновременно бежать, то останавливая их бег, борьбу или другие тяжелые телесные упражнения.

Сократ-мл. Да, это так.

Чужеземец. Значит, мы будем считать, что и законодатель, дающий наказ своему стаду относительно справедливости и взаимных обязательств, не сможет, адресуя этот наказ всем вместе, дать точные и соответствующие указания каждому в отдельности.

Сократ-мл. Видимо, это так.

Чужеземец. Он издаст, думаю я, законы, носящие самый общий характер, адресованные большинству, каждому же – лишь в более грубом виде, будет ли он излагать их письменно или же устно, в соответствии с неписаными отечественными законами.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Конечно, правильно. Да и в состоянии ли, Сократ, кто-нибудь находиться всю жизнь при каждом, давая ему самые разные и полезные указания? А если бы кто-то и был в состоянии, из тех, кто действительно получил в удел царственное познание, то едва ли он пожелал бы, записывая эти пресловутые законы, сам наложить на себя оковы.

Сократ-мл. Да, чужеземец, это ясно из только что сказанного.

Чужеземец. Более того, это станет ясным и из последующего.

Сократ-мл. А именно?

Чужеземец. А вот: скажем ли мы, что врач или учитель гимнастики, собираясь уехать и долгое время пробыть вдали от своих подопечных, сочтет нужным оставить им памятную записку с предписаниями, адресованными этим больным или ученикам гимнастики, чтобы они ничего не забыли?

Сократ-мл. Так.

Чужеземец. А что, если он пробудет в отсутствии меньше, чем ожидал? Неужели, вернувшись, он не посмеет дать другие предписания вопреки тому, что было написано раньше,

учитывая, что из-за перемены ли ветра или других неожиданностей погоды больным стало лучше? Неужели он станет упорствовать и считать, будто не следует отступать от того, что было установлено прежде, и будто ни ему не следует давать новые указания, ни больному осмеливаться преступить написанное, поскольку то, что записано, целительно и направлено к выздоровлению, все же прочее – невежественно и болезнетворно? Если бы такое случилось в науке и истинном искусстве, разве не раздался бы громовой хохот и не были бы подняты на смех подобные предписания?

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. А если кто пишет о справедливом и несправедливом, прекрасном и постыдном, добром и злом или же устно издает такие законоположения для человеческих стад, пасущихся согласно предписаниям законодателей по городам, причем пишет со знанием дела, или вдруг явится другой кто-либо подобный, неужели же им будет недозволено установить вопреки написанному другое? И неужели этот запрет подобно прежнему, о котором мы говорили, не вызовет самого настоящего смеха?

Сократ-мл. Как же иначе? Конечно, вызовет.

Чужеземец. Знаешь, что в таких случаях говорят обычно люди?

Сократ-мл. Пока что не догадываюсь.

Чужеземец. Это звучит очень складно: говорят, что, если кому известны законы, лучшие в сравнении с теми, что были раньше, он должен издавать их не ранее, чем убедит каждого гражданина в отдельности.

Сократ-мл. Ну и что же? Разве это неверно?

Чужеземец. Возможно, и верно. Но если кто, никого не убедив, силой навязывает лучшее, какое будет имя такому насилию?.. Однако постой. Скажи мне сначала по поводу прежнего...

Сократ-мл. Что именно?

Чужеземец. Если кто, не убедив врачуемого, однако, хорошо владея своим искусством, вопреки предписанному станет навязывать лучшее лечение ребенку, мужчине или женщине, как будет называться такое насилие? Ведь скорее любым именем, но только не вредоносной погрешностью против искусства? И насилуемый таким образом может сказать все, что угодно, не скажет он только, будто претерпел нечто вредоносное и невежественное со стороны насилующих его врачей.

Сократ-мл. Ты говоришь сущую правду.

Чужеземец. А что у нас называется погрешностью против искусства государственного правления? Разве не то, что постыдно, дурно и несправедливо?

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Ну, а если кого-то насильно заставляют вопреки писаным и неписаным отечественным законам делать другое, то, что лучше и прекраснее прежнего, как должно звучать у таких людей порицание подобного рода насилия, коль скоро они хотят, чтобы оно не превратилось во всеобщее посмешище? Не следует ли им говорить что угодно, кроме того, что насилуемые потерпели при этом от насилующих зло, позор и несправедливость?

Сократ-мл. Ты говоришь сущую правду.

Чужеземец. А не получится ли так, что если насилующий богат, то насилие его справедливо, если же беден, то наоборот? Или же, убедил кто других либо не убедил, богат ли он или беден, согласно установлениям или вопреки им делает он полезное дело, именно эта польза и должна служить вернейшим мериллом правильного управления государством, с помощью которого мудрый и добродетельный муж будет руководить делами подвластных ему людей? Подобно тому как кормчий постоянно блюдет пользу судна и моряков, подчиняясь не писанным установлениям, но искусству, которое для него закон, и так сохраняет жизнь товарищам по плаванию, точно таким же образом заботами умелых правителей соблюдается правильный

государственный строй, потому что сила искусства ставится выше законов. И пока руководствующие разумом правители во всех делах соблюдают одно великое правило, они не допускают погрешностей: правило же это состоит в том, чтобы, умно и искусно уделяя всем в государстве самую справедливую долю, уметь оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими.

Сократ-мл. Против того, что было тобой сказано, нечего возразить.

Чужеземец. Да и против другого тоже.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. А то, что никогда многие, кто бы они ни были, не смогут, овладев подобным знанием, разумно управлять государством; единственно правильное государственное устройство следует искать в малом – среди немногих или у одного, все же прочие государства будут лишь подражаниями, как это было сказано несколько раньше, одни – подражаниями тому лучшему, что есть в правильном государстве, другие – подражаниями худшему.

Сократ-мл. Как, как ты сказал? Я ведь и раньше не совсем понял то, что ты говорил о подражаниях.

Чужеземец. А ведь не худо было бы, если бы кто, затеяв это рассуждение, тут же и бросил его, чтобы в дальнейшем не обнаружилась возникшая сейчас в нем погрешность.

Сократ-мл. Какая же это погрешность?

Чужеземец. Вот какую погрешность надо искать, не совсем обычную и не легкую для рассмотрения; однако же мы постараемся ее уловить. Смотри-ка: если указанное нами государственное устройство – единственно правильное, по нашему мнению, то, знаешь ли, другим надлежит блюсти себя, следуя его предписаниям и делая то, что мы сейчас одобряем, хотя это и не самое правильное.

Сократ-мл. Что же именно мы сейчас одобряем?

Чужеземец. А вот что: никто из граждан никогда не должен сметь поступать вопреки законам, посмеявшегося же так поступить надо карать смертью и другими крайними мерами. Такое устройство – самое правильное и прекрасное после первого, если бы кто-нибудь вздумал его отменить. Но давай решим, каким образом возникает государственное устройство, названное нами вторым. Ты согласен?

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Вернемся же снова к уподоблениям, которые всегда следует применять в отношении царственных правителей.

Сократ-мл. О каких уподоблениях ты говоришь?

Чужеземец. О благородном кормчме и о враче, который «стоит многих людей»: вглядимся в них и с их помощью создадим себе некий образ.

Сократ-мл. Какой же?

Чужеземец. А вот какой: давайте представим себе все, что мы терпим со стороны врачей величайшие неприятности. Кого из нас они хотят сберечь, того каждый из них оберегает, но уж кого хотят погубить, того они всячески губят – и разрезами, и прижиганиями, да еще велят расходоваться на них, налагая род некой дани, из которой на больного идет очень мало либо совсем ничего, всем же остальным пользуется сам врач и его слуги. Кончается тем, что врач, приняв в уплату деньги от родственников больного или от его врагов, просто его убивает.

Кормчие тоже делают тысячи подобных вещей. Они, следуя чьему-то злему умыслу, покидают людей на пустынных морских берегах. Потерпев крушение в море, они выбрасывают людей за борт и строят другие козни.

Представь себе, что, обдумав все это, мы вынесем решение, чтобы ни одно из этих искусств не могло впредь неограниченно распоряжаться ни рабами, ни свободными, сами же устроим собрание с представителями либо всего народа, либо только богатых и всем им – как лицам несведущим, так и мастерам в других областях – будет дозволено выражать свое мнение

по поводу плавания или болезней: какими лечебными снадобьями и средствами надо лечить больных или же какими пользоваться судами и корабельным оборудованием для лучшего плавания, а также что делать ввиду опасностей, с одной стороны, самого плавания, – во время ветров и бурь на море, а с другой – при встрече с морскими пиратами и, наконец, следует ли или нет вступать большим военным судам в сражение с противником. Занеся все это – и то, что было высказано врачами и кормчими, и то, что считают лица несведущие, – на треугольные таблички и стелы, а кое-что из этого приняв как неписанные отечественные обычаи, мы в дальнейшем будем плавать по морю и пользоваться больных исключительно таким образом.

Сократ-мл. Ты говоришь очень странные вещи.

Чужеземец. Ежегодно будут назначаться правители для толпы – из богатых или же из народа, смотря по тому, что покажет жребий. И эти избранные правители будут править, водить суда и пользоваться больных согласно записанным установлениям.

Сократ-мл. Это еще чуднее!

Чужеземец. Рассмотрим же и то, что за этим последует. Когда исполнится год правления каждого из правителей, надо, созвав судилище, состоящее либо большей частью из богатых людей, либо из представителей народа, на которых падет жребий, и поставив перед этим судом бывших правителей, потребовать у них отчет, причем каждый желающий может их обвинить в том, что в течение года они водили суда, не следуя ни предписаниям, ни древним обычаям предков; точно такое же обвинение можно предъявить и врачам, пользовавшим больных. И если кто-нибудь из них будет осужден, несколько судей должны решить, что он должен претерпеть или какой заплатить штраф.

Сократ-мл. Но ведь тот, кто при подобных обстоятельствах по доброй воле и охоте принимает бразды правления, справедливо понесет наказание, в чем бы оно ни состояло.

Чужеземец. И вдобавок ко всему надо будет еще принять закон, что если кто-нибудь станет изучать искусство кораблевождения или доискиваться до истины в деле здоровья и врачевания – относительно ветров, жары или холода – в нарушение предписаний и попытается умничать в этих вопросах, того, во-первых, следует называть не врачом и не кормчим, но верхоглядом, пустым болтуном и софистом. Кроме того, поскольку он развращает других, тех, кто моложе годами, и убеждает их не согласно законам, а по собственной воле управлять кораблями и руководить больными людьми, то всякий желающий может подать на него жалобу и притянуть к суду; и если окажется, что он вопреки законам и писанным правилам поучает других – будь то юноши или старики, – он должен быть присужден к высшей мере наказания. Ибо не следует быть мудрее закона! Да вдобавок все без исключения должны знать как искусство врачевания, так и искусство кораблевождения: ведь каждый желающий может их изучить по предписаниям и существующим на родине старинным обычаям.

Так вот, Сократ, если бы с этими знаниями получилось так, как мы говорим, и прочие искусства – военное знание, охотничье искусство всех видов, живопись, каждый раздел подражательного искусства, строительство, изготовление всевозможной утвари, земледелие и всякое растениеводство, а также кормление лошадей, всевозможный уход за стадами, прорицания, служебное дело во всех его видах, игра в шашки, арифметика – чистая ли или в применении к измерению поверхностей, глубин и скоростей, – если бы все это совершалось согласно предписаниям, а не при помощи искусства, что бы из этого вышло?

Сократ-мл. Ясно, что все без исключения искусства у нас бы погибли и, поскольку закон запрещает исследование, никогда не возродились бы вновь. И таким образом, жизнь, трудная и сейчас, стала бы к тому времени вовсе невыносимой.

Чужеземец. А что ты скажешь на следующее: если бы мы вынуждены были признать, что все перечисленное должно совершаться по предписаниям и для присмотра за их выполнением поставили бы кого-нибудь избранного голосованием или по жребию, он же, ничуть не заботясь

о предписаниях, из корыстных ли побуждений или из личного расположения делал бы все наоборот, без всякого смысла, – разве это зло не было бы еще горше прежнего?

Сократ-мл. Да, это сущая правда.

Чужеземец. Ведь я думаю, что если кто-нибудь осмеливается нарушать законы, установленные на основе долгого опыта и доброжелательных мнений советников, всякий раз убеждавших народ в необходимости принять эти законы, то такой человек, нанизывая преступление на преступление, извратил бы все еще больше, чем это делают предписания.

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Поэтому второе правило для тех, кто издает какие-либо законы или постановления, – это ни в коем случае никогда не позволять нарушать их ни кому-либо одному, ни толпе.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Разве эти законы и постановления не подражания истине вещей, начертанные по мере сил сведущими людьми?

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. А ведь вспомни: мы сказали, что сведущий человек – подлинный политик – делает все, руководствуясь искусством и не заботясь о предписаниях, коль скоро ему что-нибудь покажется лучшим, чем то, что он сам написал и наказал тем, кто почему-либо находится вдали от него.

Сократ-мл. Да, мы так сказали.

Чужеземец. Значит, если какой-либо один человек или множество людей, которым предписаны законы, попытаются нарушить их в пользу того, что им представляется лучшим, то они по мере сил будут поступать так же, как тот подлинный политик?

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Итак, если они – те, кто берется за это, – невежественны, то, пытаясь подражать истинному, они будут подражать ему очень плохо; если же они искусные люди, то это будет уже не подражание, а сама наивысшая истина.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. А ведь выше мы договорились, что толпа ни в коем случае не может владеть никаким искусством.

Сократ-мл. Да, это решено.

Чужеземец. И если вообще существует царское искусство, то ни множество богатых людей, ни весь народ в целом не в состоянии овладеть этим знанием.

Сократ-мл. Да, это невозможно.

Чужеземец. Значит, как видно, подобные государства, коль скоро они хотят по мере сил хорошо подражать подлинному государственному устройству, – тому, при котором искусно правит один человек, – ни при каких условиях не должны нарушать принятые в них писанные законы и отечественные обычаи.

Сократ-мл. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Итак, когда наилучшему государственному устройству подражают богатые, мы называем такое государственное устройство аристократией; когда же они не считаются с законами, это будет уже олигархия.

Сократ-мл. Да, очевидно.

Чужеземец. Когда же один кто-нибудь управляет согласно законам, подражая сведущему правителю, мы называем его царем, не отличая по имени того, кто единолично правит, руководствуясь знанием, от того, кто тоже правит один, но руководствуется мнением и законами.

Сократ-мл. Допустим.

Чужеземец. Значит, если подлинно знающий человек правит единолично, то имя ему непременно будет «царь», и никакое иное. Благодаря этому пять наименований перечисленных нами государственных устройств сливаются воедино.

Сократ-мл. Видимо, так.

Чужеземец. Однако если такой единоличный правитель, не считаясь ни с законами, ни с обычаем, делает вид, что он знаток и потому вопреки предписаниям хочет направить все к лучшему, на самом же деле руководствуется в этом своем подражании заблуждением или же страстью, разве не следует его – и любого другого такого же – именовать тираном?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Так-то вот, говорим мы, и появились на свет тиран и царь, олигархия, аристократия и демократия, потому что люди бывают недовольны подобным единоличным монархом, не доверяют ему и считают, что никто вообще не достоин единоличной власти, ибо монарх должен стремиться и быть в состоянии управлять добродетельно и со знанием дела, справедливо и честно уделяя каждому свое, а не бесчестить, убивать и причинять зло любому, кому он вздумает. А уж появившись такой, о котором мы ведем речь, все были бы рады жить при нем, благополучно руководящем единственным безупречно правильным государственным строем.

Сократ-мл. Да и как же иначе?

Чужеземец. Но коль скоро в городах не рождается подобно матке в пчелином рое царь, тотчас же выделяющийся среди других своими телесными и душевными свойствами, надо, сойдясь всем вместе, писать постановления, стараясь идти по следам самого истинного государственного устройства.

Сократ-мл. Очевидно.

Чужеземец. Так станем ли мы удивляться, Сократ, всему тому злу, которое случается и будет случаться в такого рода государствах, коль скоро они покоятся на подобных основаниях? Ведь все в них совершается согласно предписаниям и обычаям, а не согласно искусству, и любое государство, если бы оно поступало противоположным образом, как ясно всякому, вообще при подобных обстоятельствах погубило бы все на свете.

Скорее надо удивляться тому, как прочно государство по своей природе: ведь нынешние государства терпят все это зло бесконечно время, а между тем некоторые из них монолитны и неразрушимы. Есть, правда, много и таких, которые подобно судам, погружающимся в пучину, гибнут, либо уже погибли или погибнут в будущем из-за никчемности своих кормчих и корабельщиков – величайших невежд в великих делах, которые, ровным счетом ничего не смысля в государственном управлении, считают, что они во всех отношениях наиболее ясно усвоили именно это знание.

Сократ-мл. Сушая правда.

Чужеземец. Какое же из этих неправильных государственных устройств наименее тяжело для жизни и какое – тяжелее всего? Нам надо это рассмотреть, хотя по отношению к предмету нашего рассуждения это и будет второстепенный вопрос. Правда, однако, и то, что все мы вообще делаем всё именно ради этой цели.

Сократ-мл. Да, это надо рассмотреть. Как же иначе?

Чужеземец. Итак, смотри: из трех видов государственного правления одно и то же одновременно бывает особенно тяжким и самым легким.

Сократ-мл. Как ты говоришь?

Чужеземец. А вот как: монархия, власть немногих и власть большинства – это три [вида государственного правления], названные нами в самом начале слишком расплывшегося теперь рассуждения.

Сократ-мл. Да, именно эти три.

Чужеземец. Если мы разделим каждое из этих трех надвое, у нас получится шесть [видов], правильное же государственное правление будет стоять особняком и будет седьмым по счету.

Сократ-мл. Как это все будет выглядеть?

Чужеземец. Из монархии мы выделим царскую власть и тиранию, из владычества немногих – аристократию (славное имя!) и олигархию. Что касается власти большинства, то раньше мы ее называли односложным именем демократии, теперь же и ее надо расчленить надвое.

Сократ-мл. Каким же образом мы ее расчленим?

Чужеземец. Точно так же, как остальные, несмотря на то, что пока для нее не существует второго имени. Но и при ней, как при других видах государственной власти, бывает управление, согласное с законами и противозаконное.

Сократ-мл. Да, это так.

Чужеземец. Раньше, когда мы искали правильное государственное устройство, такое деление было бы бесполезным, что мы в свое время и показали. Теперь же, когда мы выделили это правильное устройство и признали необходимыми прочие виды, законность и противозаконие образуют деление надвое в каждом из этих последних.

Сократ-мл. Твое объяснение делает это правдоподобным.

Чужеземец. Итак, монархия, скрепленная благими предписаниями, которые мы называем законами, – это вид, наилучший из всех шести; лишенная же законов, она наиболее тягостна и трудна для жизни.

Сократ-мл. Видимо, так.

Чужеземец. Правление немногих, поскольку немногое – это середина между одним и многим, мы будем считать средним по достоинству между правлением одного и правлением большинства. Что касается этого последнего, то оно во всех отношениях слабо и в сравнении с остальными не способно ни на большое добро, ни на большое зло: ведь власть при нем поделена между многими, каждый из которых имеет ее ничтожную толику. Потому-то, если все остальные виды государственного устройства основаны на законности, этот вид оказывается наихудшим из них; если же все прочие беззаконны, он оказывается наилучшим; дело в том, что если при всех них царит распушенность, демократический образ жизни торжествует победу; если же всюду царит порядок, то жизнь при демократии оказывается наихудшей, а наилучшей – при монархии, если не считать седьмой вид: его-то следует, как бога от людей, отличать от всех прочих видов правления.

Сократ-мл. Да, видно, все это так и бывает и происходит, и надо поступать, как ты говоришь.

Чужеземец. Надо также отличать участников всех этих правлений от сведущего правителя, ибо они не государственные деятели, а нарушители порядка, защитники величайших химер; да и сами они всего лишь химеры, крупнейшие подражатели и шарлатаны и потому – величайшие софисты среди софистов.

Сократ-мл. Точнехонько метнул ты это слово в так называемых политиков!

Чужеземец. Пусть! Это будет у нас совсем словно драма: согласно сказанному, мы видим шумную ораву кентавров и сатиров, которую необходимо отстранить от искусства государственного правления: и вот теперь, хоть и с трудом, орава эта отстранена.

Сократ-мл. Да, очевидно.

Чужеземец. Остается еще один род, и отделить его – дело более трудное, так как он и ближе к царскому роду, и в то же время труднее для постижения. Но мне кажется, мы напоминаем людей, очищающих золото.

Сократ-мл. Почему?

Чужеземец. Ведь мастера отделяют сначала землю, камни и прочие вещи такого рода. После этого остаются только ценные примеси, родственные золоту, которые можно отделить лишь с помощью огня – медь и серебро, а иногда и адамант; они с трудом выделяются путем плавления и испытываются пробным камнем, и лишь после этого мы можем любоваться беспримесным, чистым золотом – золотом, как таковым.

Сократ-мл. Да, говорят, что это происходит именно так.

Чужеземец. Значит, видно, подобным же образом следует нам теперь отделить от политического знания все инородное, чуждое ему и недружественное и оставить только ценное и сродное. А это – военное искусство, судебное и ораторское, поскольку последнее связано с царским искусством и помогает ему управлять делами города с помощью убеждения, склоняющего к справедливости. Лишь отделив все это по возможности легким способом, можно будет увидеть то, что мы имеем, обнаженным, единственным в своем роде.

Сократ-мл. Ясно, что надо попытаться это сделать.

Чужеземец. Если это зависит от попытки, то искомое обнаружится. Давай, попытаемся выявить его с помощью музыки. Скажи мне...

Сократ-мл. Что именно?

Чужеземец. Есть ли у нас музыкальная наука и вообще наука, дающая знание всего того, что связано с умелостью рук?

Сократ-мл. Есть.

Чужеземец. Что же? Не скажем ли мы, что наука о том, следует ли нам изучать какую-либо из этих наук или нет, также будет относящимся к этим наукам знанием?

Сократ-мл. Да, скажем.

Чужеземец. Однако мы скажем, что это знание будет отличным от тех?

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Так как же: ни одна из этих наук не должна управлять другой? Или все они должны управлять этой отличной от них наукой? Или, наоборот, она должна быть распорядительницей и управительницей их всех?

Сократ-мл. Она должна управлять остальными.

Чужеземец. Значит, ты считаешь, что та наука, которая указывает, надо ли обучаться, должна управлять у нас теми, которые обучают и направляют?

Сократ-мл. Конечно.

Чужеземец. И та наука, которая указывает, надо ли применять убеждение или нет, должна управлять той, что владеет убеждением?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Пусть так. Какой науке мы припишем умение убеждать большинство, толпу не с помощью поучения, а путем воздействия на воображение?

Сократ-мл. Я думаю, ясно, что это надо отнести к ораторскому искусству.

Чужеземец. А в вопросе, нужно ли действовать по отношению к кому-то убеждением, силой или здесь вообще надо воздержаться от действий, – какой науке принадлежит решение?

Сократ-мл. Той, которая управляет наукой убеждения и речи.

Чужеземец. А это будет, думаю я, не иная какая-нибудь наука, но способность управлять государством.

Сократ-мл. Ты прекрасно сказал.

Чужеземец. Как видно, ораторское искусство легко отделяется от политического в качестве иного вида, подчиненного этому.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. А вот что следует думать о такой способности?..

Сократ-мл. О какой же?

Чужеземец. О той, которая определяет, как надо вести войну со всеми, с кем мы решили воевать: будет такая способность искусством или нет?

Сократ-мл. Как же можно не отнести к искусствам то, что рождается из всего военачальнического и воинского опыта?

Чужеземец. А науку, сведущую и умеющую дать совет относительно того, надо ли воевать или лучше покончить дело миром, будем мы считать отличной от этой способности или одинаковой с ней?

Сократ-мл. Следуя сказанному раньше, ее следует считать иной.

Чужеземец. Обозначим ли мы ее как управляющую названной ранее, если будем следовать прежнему нашему способу?

Сократ-мл. Полагаю, что да.

Чужеземец. Но какую же науку решимся мы назвать владычицей всего этого великолепного и огромного воинского искусства, кроме науки подлинно царской?

Сократ-мл. Кроме нее, нельзя назвать никакой.

Чужеземец. Значит, мы не признаём, что политическое искусство – это воинская наука, то есть наука подсобная?

Сократ-мл. Это невозможно.

Чужеземец. Давай же рассмотрим и умение судей, справедливо творящих суд.

Сократ-мл. Конечно, рассмотрим и это.

Чужеземец. Итак, способно ли оно на что-нибудь большее, чем, приняв во внимание все взаимные обязательства, утвержденные в качестве законных царем-законодателем, судить, рассматривая, какие из них выполняются справедливо, а какие – несправедливо? Собственная же его добродетель проявляется в том, что ни ради даров, ни из страха или из сострадания, а также из вражды или дружбы оно не склоняется к нарушению распоряжений законодателя при разборе взаимных обвинений тяжущихся сторон.

Сократ-мл. Да, не иначе: деятельность этой способности заключена примерно в названных тобой границах.

Чужеземец. Итак, мы нашли, что мощь судейской власти – не царственная: власть эта – хранительница законов и служанка царской мощи.

Сократ-мл. Видимо, так.

Чужеземец. Следовательно, относительно всех перечисленных знаний надо заметить, что ни одно из них не оказалось искусством государственного управления. То искусство, которое действительно является царским, не должно само действовать, но должно управлять теми искусствами, которые предназначены для действия; ему ведомо начало и развитие важнейших дел в государстве, благоприятное и неблагоприятное для них время, и все прочие искусства должны исполнять его повеления.

Сократ-мл. Правильно.

Чужеземец. Поэтому те искусства, которые мы только что перечислили, не управляют ни друг другом, ни самими собой, но каждое из них занимается своими делами и согласно особенностям этих дел по справедливости носит соответствующее имя.

Сократ-мл. Видимо, так.

Чужеземец. Если же обозначить одним именем способность того искусства, которое правит всеми прочими и печется как о законах, так и вообще обо всех делах государства, правильно сплетая всё воедино, то мы по справедливости назовем его политическим.

Сократ-мл. Безусловно.

Чужеземец. Теперь, когда все виды его деятельности в государстве нам стали ясны, давай рассмотрим его по образцу ткацкого искусства.

Сократ-мл. Отлично!

Чужеземец. Итак, нам надо сказать о царском плетении, каково оно, каким образом сплетается и какая из него получается ткань.

Сократ-мл. Это ясно.

Чужеземец. Трудную же, кажется, вещь необходимо нам объяснить!

Сократ-мл. Во всяком случае это нужно сделать.

Чужеземец. Итак, часть добродетели некоторым образом отличается от всего вида в целом, хотя любители препираться относительно слов и сочтут это уязвимым с точки зрения большинства.

Сократ-мл. Я не понял тебя.

Чужеземец. Сейчас повторю. Ведь мужество, думаю я, ты считаешь одной из частей добродетели?

Сократ-мл. Да, конечно.

Чужеземец. Однако рассудительность отлична от мужества, хотя и она есть часть добродетели.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Осмелимся же выдвинуть касательно того и другого некое странное положение.

Сократ-мл. Какое?

Чужеземец. Что во многих случаях они в каком-то смысле находятся в отношениях сильного взаимного противоречия и раздора.

Сократ-мл. Что ты имеешь в виду?

Чужеземец. Весьма необычное положение: ведь обыкновенно считается, что все части добродетели между собой в ладу.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Посмотрим же, приложив побольше внимания, так ли все просто обстоит на самом деле, или же есть здесь скорее нечто, находящееся в разладе с родственными частями?

Сократ-мл. Что ж, говори, как это надо рассматривать.

Чужеземец. Во всем вообще следует выделять то, что мы называем прекрасным, но при этом делим на два противоположных вида.

Сократ-мл. Скажи яснее.

Чужеземец. Не хвалил ли ты когда-нибудь сами ли не слышал, как хвалят другие стремительность и живость, – касалось ли это движений тел, душ или голосов, как самих по себе так и их изображений, даваемых музыкой или живописью?

Сократ-мл. Конечно. Как же иначе?

Чужеземец. Припоминаешь ли ты, как это делают в каждом из этих случаев?

Сократ-мл. Нет, совсем не помню.

Чужеземец. Смогу ли я на словах объяснить тебе, как я это себе представляю?

Сократ-мл. Почему бы и нет?

Чужеземец. Тебе это кажется очень легким! Давай же рассмотрим все это в противоположных родах. Всякий раз, когда мы неоднократно восхищаемся живостью, напористостью и стремительностью мысли или тела, а также и голоса, мы, выражая свою похвалу, пользуемся одним-единственным словом – «мужество».

Сократ-мл. Как это?

Чужеземец. Мы говорим в этих случаях: «мужественно и стремительно», «живо и мужественно», а также «напористо и мужественно». И всякий раз, прилагая такое слово ко всем подобным натурам, мы произносим им похвалу.

Сократ-мл. Да.

Чужеземец. Далее. А вид спокойных проявлений разве не хвалим мы часто в самых различных случаях?

Сократ-мл. И даже очень.

Чужеземец. Говорим ли мы в этих случаях, что-то противоположное или то же самое?

Сократ-мл. Что ты хочешь этим сказать?

Чужеземец. А то, что, восхищаясь проявлениями мысли, мы называем их всякий раз спокойными и рассудительными; точно так же о действиях мы говорим, что они размеренны и мягки, о голосах – что они нежны и глубоки, а обо всяком вообще ритмическом движении и музыке – что они умеренно неторопливы: таким образом, мы прилагаем ко всему этому имя не мужества, а упорядоченности.

Сократ-мл. Сушая правда.

Чужеземец. А когда-то и другое кажется нам неуместным, мы меняем наименования, выражая тем самым свое порицание.

Сократ-мл. Каким образом?

Чужеземец. Если что-то кажется нам происходящим живее и стремительнее, чем положено, или представляется более жестким, чем нужно, мы называем это заносчивым и безумным; то же, что медленнее, тяжеловеснее и мягче должного, мы называем робким и неповоротливым. И почти всегда мы находим, что рассудительная натура и мужественная противоположны друг другу, как две враждующие между собой идеи, никогда не смешивающиеся между собой в соответствующих каждой из них делах, и, если мы посмотрим внимательнее, те, кто носит их в своих душах, испытывают между собой разлад.

Сократ-мл. Какого рода разлад?

Чужеземец. Во всем том, о чем мы сейчас говорим, а также, видимо, и во многом другом. Ведь, я думаю, одобряя то, что им сродно, как нечто им близкое, и порицая, напротив, то, что близко тем, кто от них отличается, они вступают в самые враждебные отношения – и касательно многих вещей – друг с другом.

Сократ-мл. Видимо, это так.

Чужеземец. А между тем подобный раздор этих двух видов – самое настоящее ребячество, которое в важных делах государства оборачивается зловреднейшим из недугов.

Сократ-мл. О чем ты говоришь?

Чужеземец. Я говорю обо всем ходе жизни. Ведь те, кто отличается упорядоченностью, всегда готовы жить мирно, занимаясь собственными делами и не вмешиваясь в чужие; таково же и их обращение со своими домочадцами и с другими городами: они всегда готовы поддерживать с ними мир. Из-за такой чрезмерной любви к покою и досугу они незаметно для самих себя становятся невоинственными и делают такими же своих юношей. Поэтому-то они всегда оказываются слабой стороной и часто незаметно для себя самих их дети и все их государство за несколько лет попадают в рабство.

Сократ-мл. Ты говоришь о тяжелой и страшной беде.

Чужеземец. А что же те, кто склоняется больше к мужеству? Разве бывает не так, что, постоянно вовлекая свои города в войны, они из-за чрезмерной страсти к подобного рода жизни навлекают на себя вражду многих могущественных людей и либо совсем губят свою родину, либо отдают ее в рабство и подчинение вражеским государствам?

Сократ-мл. Бывает и так.

Чужеземец. Как же не сказать, что в подобных обстоятельствах оба этих рода оказываются между собой в отношениях великой вражды и разлада?

Сократ-мл. Иначе сказать нельзя.

Чужеземец. Итак, не обнаружили ли мы того, что искали с самого начала, а именно, что части добродетели немало различаются между собой по своей природе, а также и те, кто ими обладает?

Сократ-мл. Да, похоже, что это так.

Чужеземец. Присовокупим же сюда и следующее...

Сократ-мл. Что именно?

Чужеземец. Разве какое-нибудь из связующих искусств, творя любое свое произведение, даже самое ничтожное, составляет его намеренно из негодных и добротных частей, или же, наоборот, всякое искусство по возможности отбрасывает все негодное, а берет полезное и нужное и уже из всего этого, сводя его воедино – будь все эти вещи между собой подобны или неподобны, – творит некую единую идею и силу?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. Значит, и истинное по своей природе искусство государственного правления не станет намеренно составлять какое-либо государство из хороших людей и дурных, но, как это ясно, сначала испытает их словно шутя, а испытав, передаст на воспитание тем, кто способен воспитывать и содействовать подобному воспитанию, руководить же ими и направлять их будет само, подобно тому как ткацкое искусство руководит чесальщиками и другими мастерами, подготавливающими все остальное, требующееся для тканья: оно будет указывать каждому из мастеров, какое надо выполнить дело, полезное для задуманной им ткани.

Сократ-мл. Да, безусловно.

Чужеземец. Точно таким же образом, кажется мне, и царское искусство, само владея способностью повелевать, не допускает, чтобы приставленные к этому делу законом учителя и воспитатели, все до единого, воспитывали и упражняли характер, не соответствующий задуманной им смеси, но приказывает воспитывать лишь такой, смешанный нрав. А кто не способен одновременно стать причастным и разумному, и мужественному нраву, а также всему остальному, направленному к добродетели, но силой дурной природы отбрасывается ко всему кощунственному, к заносчивости и несправедливости, тех оно карает смертью, изгнанием и другими тяжелейшими карами.

Сократ-мл. Да, это считается правильным.

Чужеземец. Тех же, кто погрязает в невежестве и крайней низости, оно впрягает в рабское ярмо.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Из остальных же, чья природа способна под воздействием воспитания склониться к благородному началу и поддаться смешению, требуемому искусством, оно тех, кто более склонен к мужеству и по своей крепости почитается им подобными ткацкой основе, и других, кто склонен к порядку и потому используется им, – если продолжить уподобление, – в качестве похожей на уток пышной и мягкой пряжи (причем устремления тех и других прямо противоположны), старается каким-то способом связать и переплести...

Сократ-мл. Каким же именно способом?

Чужеземец. Прежде всего оно соединяет между собой по сродству вечносущую часть их душ божественной связью, а уж после того животную часть их душ – связью человеческой.

Сократ-мл. Что? Как ты говоришь?

Чужеземец. Я говорю, что истинное мнение о прекрасном, справедливом и добром, а также обо всем противоположном, когда оно прочно, рождаясь в душах, образует нечто божественное в божественной же природе.

Сократ-мл. Так оно и подобает.

Чужеземец. Мы знаем, что только политик и хороший законодатель способны с помощью музы царского искусства внушить истинное мнение тем, кто причастен правильному воспитанию, как мы сейчас говорили.

Сократ-мл. Это похоже на правду.

Чужеземец. Того же, кто в этом немошен, мы никогда не назовем тем именем, которое сейчас ищем.

Сократ-мл. Совершенно верно.

Чужеземец. Что же? Разве мужественная душа, восприняв подобную истину, не станет более кроткой и причастной всему справедливому? А не приобщившись к ней, разве не отклонится она более в сторону звериной природы?

Сократ-мл. Как же иначе?

Чужеземец. А что будет с кроткой природой? Разве, восприняв подобные мнения, не станет она подлинно рассудительной и разумной, особенно в государственной жизни? А если она не приобщится к тому, о чем мы говорим, разве не приобретет она позорнейшую и справедливую славу глупости?

Сократ-мл. Несомненно.

Чужеземец. Итак, мы скажем, что эта связь и сплетение никогда не будут прочными и монолитными между злыми, а также между злыми и добрыми и что никакое знание нельзя серьезно использовать, когда речь идет о подобных людях.

Сократ-мл. Да. И как это сделать?!

Чужеземец. Прочными же они будут лишь в том случае, если будут даны законами только тем, кто воспитан с рождения согласно своей природе. Только для них будет действительно это средство царского искусства и только таким образом будет еще божественнее связь частей добродетели неподобных между собой душ, устремляющихся в противоположные стороны.

Сократ-мл. Сушая правда.

Чужеземец. Остальные же связи, человеческие, коль скоро эта, божественная, уже установлена, нетрудно уразуметь, а уразумевши – установить.

Сократ-мл. Как же? И о каких связях ты говоришь?

Чужеземец. О законах, касающихся общения между собой дочерей на выданье и сыновей, и особенно о выдаче замуж и женитьбах: ведь большинство людей неправильно соединяются для рождения детей.

Сократ-мл. Как это?

Чужеземец. Погоня в таких делах за богатством и могущественным родством заслуживает ли серьезного порицания?

Сократ-мл. Отнюдь.

Чужеземец. Скорее будет справедливым упрекнуть тех, кто в подобных делах хлопочет о происхождении – если они делают это неверно.

Сократ-мл. Естественно.

Чужеземец. А ведь делают они это без достаточного основания, заботясь лишь о минутном покое, и потому выбирают себе подобных, тех же, кто на них непохож, отталкивают, отмеривая им величайшую меру нерасположения.

Сократ-мл. А именно?

Чужеземец. Те, кто отличается упорядоченностью, ищут нрав, подобный их собственному, и по возможности берут жен из таких же родов, а дочерей своих стараются выдать в такие семьи. То же самое делает мужественный род людей, когда гонится за своей собственной природой, в то время как оба рода должны были бы делать прямо противоположное.

Сократ-мл. Как это? Да и ради чего?

Чужеземец. А потому, что мужество многих родов, не смешанное от рождения с благоразумной природой, сначала наливается силой, под конец же превращается в совершеннейшее безумие.

Сократ-мл. Естественно.

Чужеземец. Душа же, чересчур исполненная скромности и не смешанная с дерзновенной отвагой, передаваясь из поколения в поколение, становится более вялой, чем следует, и в конце концов полностью впадает в уродство.

Сократ-мл. И это, естественно, случается таким образом.

Чужеземец. Я сказал, что в правильных связях нет ничего невозможного, если только оба рода будут иметь одну заботу – о совершенстве. Это-то и есть целиком и полностью дело царского ткачества: оно ни в коем случае не должно допускать, чтобы рассудительные характеры отдалялись от мужественных, но должно сплетать их вместе единомыслием и почестями, бесчестьем и славой, а также взаимной выдачей обязательств и, изготовляя таким образом мягкую и в то же время прочную ткань, всегда предоставлять государственные должности обоим этим родам совместно.

Сократ-мл. Как это?

Чужеземец. Если где-нибудь есть нужда в одном правителе, надо избрать такого распорядителя, чтобы он имел оба указанных качества; там же, где требуется много правителей, надо смешивать их между собой в равных количествах: ведь в высшей степени мягкому, справедливому и спасительному нраву благоразумных правителей недостает резкости, своего рода острой и действенной дерзновенности.

Сократ-мл. По-видимому, и это верно.

Чужеземец. Мужественность же уступает в свою очередь справедливости и мягкости этих людей; зато она куда дерзновеннее в деле. И не возможно, чтобы в государствах все шло хорошо, если в них не будет того и другого рода.

Сократ-мл. Да, иначе не может быть.

Чужеземец. И так, вот что мы называем завершением государственной ткани: царское искусство прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой и создавая таким образом великолепнейшую и пышнейшую из тканей. Ткань эта обвивает всех остальных людей в государствах – свободных и рабов, держит их в своих узах и правит и распоряжается государством, никогда не упуская из виду ничего, что может сделать его, насколько это подобает, счастливым.

Сократ-мл. Превосходно изобразил ты нам, чужеземец, царственного мужа – политика.

Законы

Книга I

Афинянин, Клиний, Мегилл

Афинянин. Бог или кто из людей, чужеземец, был виновником вашего законодательства?

Клиний. Бог, чужеземец, бог, говоря по правде. У нас это Зевс, у лакедемонян же, откуда родом Мегилл, я полагаю, назовут Аполлона. Не так ли?

Мегилл. Да.

Афинянин. Неужели ты утверждаешь, согласно Гомеру, что Минос каждые девять лет отправлялся для бесед к своему отцу и, сообразно его откровениям, устанавливал законы для ваших государств?

Клиний. У нас в самом деле рассказывают это, а также и то, что брат Миноса Радамант – конечно, вам знакомо это имя – был в высшей степени справедлив. О нем мы, критяне, сказали бы, что он по нраву заслужил эту похвалу своим тогдашним правосудием.

Афинянин. Прекрасная слава, вполне подобающая сыну Зевса. Так как вы оба, ты и Мегилл, воспитаны в покоящихся на законах нравах, я надеюсь, что мы не без удовольствия совершим наш путь, беседуя о нынешнем государственном устройстве и о законах. Во всяком случае дорога из Кноса к гроту и святилищу Зевса, как мы слышали, для этого подходит: по пути, верно, встречаются тенистые места под высокими деревьями, где можно будет отдохнуть от этого зноя. В наши лета нам следует часто делать передышки в подобных местах и так полегоньку совершить весь путь, ободряя друг друга речами.

Клиний. К тому же, чужеземец, когда мы немного пройдем вперед, нам встретятся в рощах удивительно высокие и красивые кипарисы, а также и луга, где мы сможем передохнуть и побеседовать.

Афинянин. Ты прав.

Клиний. Да, но, когда мы их увидим, мы еще не так о них отзовемся. Однако отправимся, в добрый час!

Афинянин. Да будет так! Скажи мне, с какой целью закон установил у вас совместные трапезы, гимназии и ваш способ вооружения?

Клиний. Я думаю, чужеземец, всякий легко поймет наши установления. Ведь вы видите природу местности всего Крита: это не равнина, как Фессалия. Поэтому-то фессалийцы больше пользуются конями, мы же передвигаемся пешком. Неровность местности более подходящая для упражнения в беге; из-за нее и оружие по необходимости должно быть легким, чтобы не обременять при беге, для этого по своей легкости кажутся подходящими лук и стрелы. Все это у нас приспособлено к войне, и законодатель, по-моему, установил все, принимая в соображение именно войну; так он ввел сисситии, имея в виду, мне кажется, что на время походов сами обстоятельства вынуждают всех иметь общий стол – ради собственной своей безопасности. Он заметил, я думаю, неразумие большинства людей, не понимающих, что у всех в течение жизни идет непрерывная война со всеми государствами. Если же на войне, во имя безопасности, следует иметь общий стол и надо, чтобы стражами были какие-то начальники и их подчиненные, люди организованные, то именно так надо поступать и в мирное время. Ибо то, что большинство людей называет миром, есть только имя, на деле же от природы существует

вечная непримиримая война между всеми государствами. Став на эту точку зрения, ты, пожалуй, найдешь, что критский законодатель установил все наши общественные и частные учреждения ради войны; он заповедал охранять законы именно согласно с этим, так как никакое достояние, никакое занятие, вообще ничто не принесет никому пользы, если не будет победы на войне: ибо все блага побежденных достаются победителю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.